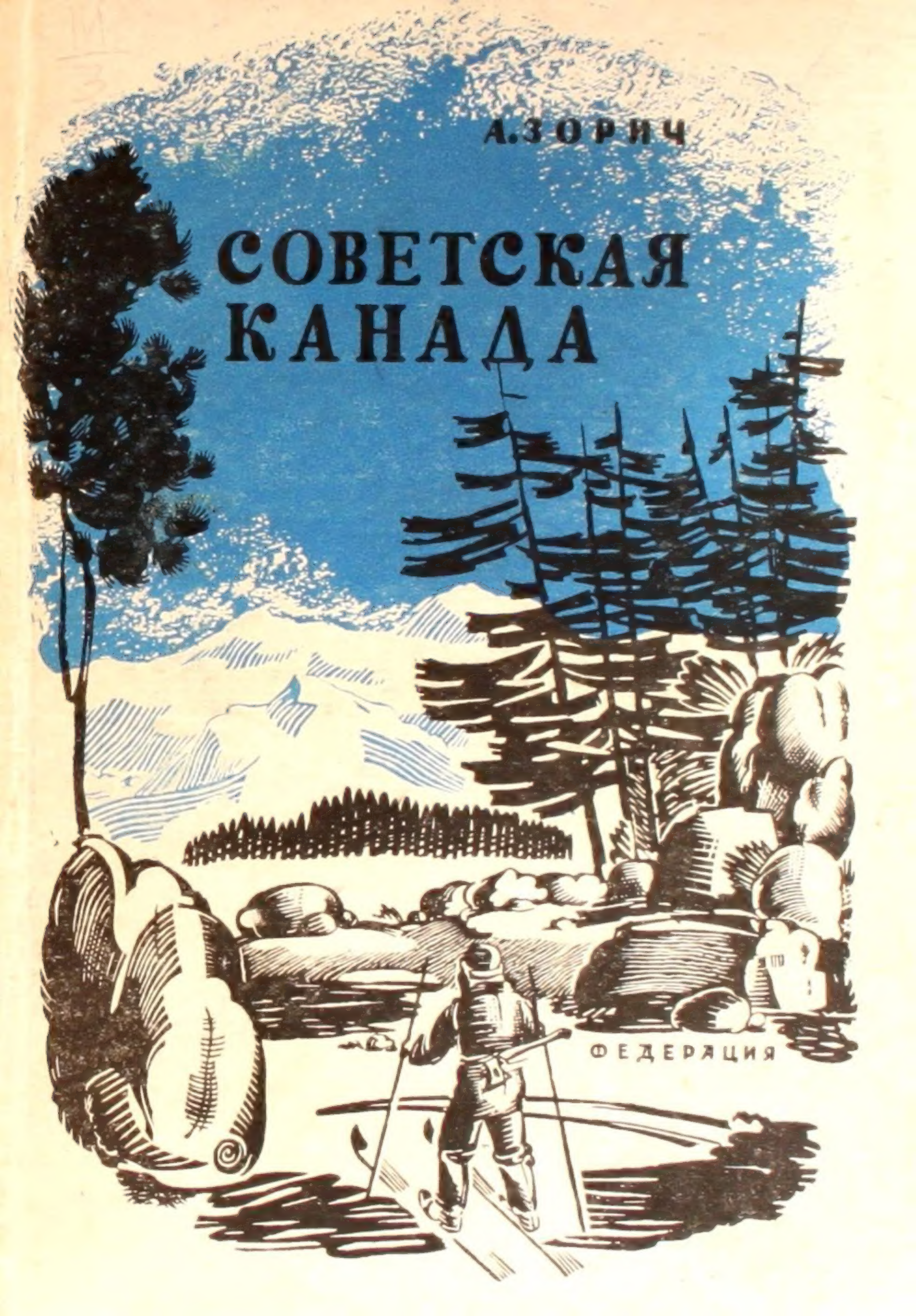
А. ЗОРИЧ
СОВЕТСКАЯ КАНАДА
ФЕДЕРАЦИЯ

М
3

А. ЗОРИЧ

СОВЕТСКАЯ КАНАДА

ОЧЕРКИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕДЕРАЦИЯ»
МОСКВА
1 9 3 1

К.
П

ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЗОРИЧ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2008

М/3 Р

Обложка работы худ. Дм. Бажанова.
39-я „Интернациональная" типография „Мосполиграф", ул. Скворцова-Степанова, 3.
Уполн. Главлита В 1049.
ФОСП № 529.
Тираж 10.000.
Зак. 255

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЛЕНИНА
СО 32728
23994
5/61
31
23994
Ч

I

Пурга. — Из окна вагона. — Волховстрой. — Великое собирание. — «Россия во мгле». — Кремлевский мечтатель. — Нищая романтика. — На заре электрического солнца. — Как меркнет старый каганец. — Творимая утопия.

Помнится, мы выехали из Ленинграда вечером, что-то около десяти часов, и в полночь прибыли на станцию Званка. Она ничем не отличается от десятков и сотен других таких же, затерянных в необ'ятных просторах полей, глухих российских станций и полустанков; точно так же скрипел под ногами снег на дощатой платформе, когда мы вышли побродить из вагона, точно так же невозможно грязен был заспанный буфетчик за стойкой, на которой красовались накрытые невообразимой марлей бутерброды с сухой колбасой, точно так же понуро стояли у изгороди заиндевевшие деревенские лошаденки, напоминавшие помесь верблюда с овцой. Они подбирали вздрагивающими губами черную солому, рассыпанную на снегу под ногами, и вздыхали тяжело и печально, поводя мокрыми боками. Начиналась метель, гудел ветер в проводах и кале-

ченый, треногий, тощий, как призрак, бесшерстый станционный пес выл тоскливо и протяжно, усевшись прямо посреди перрона. Россия!—помнится, подумал я, вслушиваясь в знакомые эти звуки, вглядываясь сквозь порошивший снег в эти знакомые очертания: заметенная вьюгами, крытая соломой, освещенная лучинами, обутая в лапти, нищая, дикая, темная страна!..

И вот мы от'ехали от Званки, миновали раз'езд на ветке и одинокий верстовой столб в поле, и с разбега ворвались на мост через Волхов. Яркий, ослепительный свет мгновенно залил вдруг весь вагон; стеариновые огарки, горевшие в фонарях, померкли сразу, точно рядом с каждым из них зажгли по электрической лампе в сто свечей. Из мглы, из сугробов, из снежной российской вьюги, из простора глухих и безлюдных российских полей, торжественно и величественно, сияя тысячами прекрасных, дрожащих и переливающихся электрических огней, прорезая ночную тьму лучами своих прожекторов, заглушая тоскливый вой ветра ровным шумом турбин, как вестник завтрашнего нашего дня, как символ новой, наступающей эпохи — справа навстречу поезду вырастал стремительно легендарный Волховстрой...

Я бывал здесь не раз, в самые различные годы, периоды и времена, и история этой беспримерной постройки во всех ее героических деталях воскрешалась сейчас в моей памяти, когда из окна вагона я смотрел на убегавшие чудесные

огни. Волховстрой велик. Кто-то из иностранцев, смотревших это строительство, сказал:

— Сделать это могли либо американцы, либо большевики.

И он добавил, пожимая плечами, что такое сооружение может воздвигнуть либо страна, предельно насыщенная валютой, либо народ, слишком бедный для того, чтобы пренебречь золотом, которое лежит у него под ногами...

Звучит это несколько парадоксально, но именно потому, что она очень бедна, наша страна не могла отказаться от мысли, возможности и необходимости строить и выстроить на порогах этой реки станцию, о которой говорили в свое время за границей, как об одном из выдающихся и крупнейших сооружений Европы. Волховстрой обошелся республике в сто миллионов рублей. Огромная цифра! Но именно потому, что она огромна для нас, именно потому, что каждая копейка на счету в государственном нашем бюджете и каждая лишняя копейка слишком дорога организующей свое хозяйство стране — нужно было дать эти миллионы, чтобы они сберегли потом миллиард, чтобы в какой-то мере они обеспечили республике базу и тыл в борьбе за индустриализацию Союза.

Силовая станция Волховстроя имеет восемь турбин по 10.000 лошадиных сил каждая: мощность ее определяется, таким образом, в 80.000 лошадиных сил. Расчет этот приходится снизить

примерно вдвое в предположении, что падающий к осени напор воды в Волхове не оставит для станции возможности работать с предельной загрузкой круглый год; при самом скромном и педантичном подсчете, однако же, средняя годовая мощность ее исчисляется в 40.000 лошадиных сил. В переводе на рабочие руки это значит, что Волховстрой заменяет собой трудовую армию в 1.200.000 человек; электрическая энергия, которую дает станция, покрывает сорок пять процентов всей довоенной потребности огромнейшего ленинградского промышленного района и позволяет экономить до 300.000 тонн угля в год. Практически же, за четыре года работы Волховстрой сберег нам уже миллион тонн угля, стоимостью в 25 миллионов рублей. Вдобавок к этому самая стоимость энергии снизилась минимум вдвое против прежнего.

Легко понять отсюда ту колоссальную перспективу, которую открыл Волхов для края, и оценить роль и место, какие займет и заняло это строительство в деле организации и дальнейшего развития народного хозяйства области и всей страны!

Когда говорят о станции, что мощность ее определяется в сорок тысяч лошадиных сил, для специалиста этим сказано все; но у человека, непосвященного, это едва ли создает представление о действительном масштабе необходимых для такого сооружения работ.

В постройку на Волхове вложено свыше 16.000 тонн железа, 80.000 тонн цемента, пять миллионов штук кирпича и 40 тысяч кубических метров камня. Примерно подсчитано, что землей, вырытой на постройке, можно бы от основания до крыши заполнить 450 восьмиэтажных московских домов; бочки из-под цемента, вплотную уставленные друг возле друга, растянулись бы по линии на 400 километров; большое колесо турбины, делающее до 1.000 оборотов в минуту, ежели бы пустить его с этой скоростью по земле, расстояние от Москвы до Ленинграда покрыло бы в 1½ часа.

Это почти подавляет, когда стоишь в колодце турбины и над головой у тебя вертится с легкостью детского волчка колесо в 10 тонн весом, или когда смотришь на бешеный бег воды в спуске — 200 кубических метров ее здесь проходят в секунду; или когда под водой, под рекой переходишь в бетонной потерне реку и слышишь над головой тяжелый и ровный гул и точно чувствуешь сверху давящие толщи беснующейся, но плененной воды; или когда на катере заходишь ниже плотины в шлюз и за тобой закрывают ворота, одно полотнище которых весит 30 тонн и откуда-то снизу расходящимися кругами бьет покорная руке человека вода из труб, чтобы за девять минут поднять уровень в громаднейшем шлюзе и катер, ползущий, как лифт в шахте, на десять метров вверх. С удивительной

ясностью ощущаешь здесь сконцентрированную силу человеческого ума и труда, создавших в сочетании эту громадину из бетона, которая целиком воплотила в себе мощь победившего класса, и героику, и пафос, и творческий под'ем революционого народа в эпоху, какой не знал еще мир!

Это кажется почти сказкой, когда бродишь по берегам Волхова, где вчера еще была пустыня, и где сегодня раскинулся целый уездный городок, с электричеством и водопроводом, с проспектами, улицами, театрами, кинематографом, с местным загсом, милицией, больницей, телеграфом, сберегательной кассой, школой с яслями, баней, гостиницей, хлебопекарней, столовой, базаром, кооперативами, парикмахерскими, аптекой, с собственными заводами и собственной веткой под'ездного железнодорожного пути. Этот городок на «великом пути из варяг в греки» занимает в общей сложности около 200 гектаров. Количество людей, которые здесь работали в отдельные моменты, достигало 15.000 человек. Они с'едали 16 тонн хлеба и потребляли 30.000 ведер воды в день.

Конечно, этот масштаб и все эти цифры сейчас, на фоне того же Днепростроя хотя бы, не кажутся уже такими грандиозными. Но нужно вспомнить ведь в какое время строилась эта станция, которая и по сей день остается самой мощной гидроустановкой Союза! Ведь Волховстрой начат был в двадцатом году, в период,

который входит в историю революции одной из самых тяжких страниц! И надо знать, и надо помнить, ценой каких невероятных усилий и жертв был он создан в обстановке тех лет! Ведь ни железа, ни кирпича, ни экскаваторов, ни оборудования, ни гвоздей — ничего, в сущности, не было у нас тогда, когда решено было и началось это историческое строительство. Ведь по крайней мере наполовину Волховстрой создан из того, что «по винтикам, по кирпичикам», усилиями всего революционного народа, кропотливо собиралось целыми годами по всей разоренной стране. Откуда-то с Байкала на верблюдах везли железо; где-то на Украине отыскивали и с невероятными трудностями поднимали со дна Десны и Сейма затопленные кессоны; на каких-то законсервированных, омертвевших, заглохших заводах находили и откапывали в старом хламе маховики и болванки, лом для переплавки. Вооруженные мандатами люди колесили в поисках материала, леса, стали, цемента, проводов, моторов и хлеба для рабочих по всей стране и из десятков городов и из сотен мест, в вагонах, в которых свистели еще горящие буксы, в маршрутах, которые по неделям тащились еще от Чудова до Ленинграда — буквально по гвоздику, по фунту свозили и свезли сюда почти все, из чего воздвигнута эта блестящая, ослепительная, европейская постройка на Волхове...

Дни заграничных закупок, дни правильного

снабжения и устойчивой валюты наступили не вдруг, и много позже все, что можно и нужно было собрать и сделать до этих дней внутри страны, было собрано, сделано и отправлено на Званку, на узел, откуда идет через мост ветка на Волховстрой. Это было дьявольски трудно; товарищи со строительства, когда вспоминают эти времена, только улыбаются недоумевающе и разводят руками. Они сами не понимают сейчас, кажется, каким чудом удалось это великое собирание...

Но основная трудность заключалась, пожалуй, даже не в этом.

Основная трудность состояла в том, что у Волховстроя, как у каждого большого, нового и безусловно дерзкого дела, врагов и недоброжелателей было гораздо больше, чем друзей и просто сочувствующих ему людей. Специалисты в те годы не хотели итти на постройку: отчасти они саботировали еще, отчасти боялись ответственности, а также учитывали, что на Волховстрое в первое время не было денег. Уклонившись же от работы, они стали говорить повсюду, что к делу не привлечены имена, что это дело не проверено, утопично и безусловно обречено на скандальную неудачу; они выставляли десятки и сотни чрезвычайно убедительных как будто причин, выкладок и доказательств, ссылались на всяческие источники и на энциклопедии, где сказано про скверный волховский грунт. Когда

станция только проектировалась еще, они говорили, что ее невозможно построить; когда же ее построили все-таки, они стали говорить, что она не будет работать, потому что в Волхове не хватит для нее воды. Это походило на историю паровоза, который пускал Стефенсон. Пока паровоз стоял, английские дамы кричали исступленно:

— Не пойдет, не пойдет!

Когда же он пошел, они стали пищать:

— Не остановится, не остановится!

Но паровоз пошел и остановился. Но Волховстрой был создан и начал работать...

Дело свое эти люди, большинством которых руководили личные побуждения, наполовину все же сделали: они сумели внушить очень многим товарищам, от которых зависела в той или иной мере судьба строительства, недоверие к нему. Начались ревизии, обследования, запросы, акты и заключения. Комиссия ехала за комиссией: иные из них работали по месяцу и по два, проверяя буквально каждый грош и каждый гвоздик, почему этот гвоздик вбит так, а не этак. Они ничего не могли «установить», однако, потому что за все годы работ на Волхове, пропустившем через свою кассу сто миллионов рублей, там не было фактически ни одного серьезного хищения и ни одной сколько-нибудь крупной растраты; но комиссии и ревизоры давали самые разнообразные и, случалось, совершенно про-

тиворечивые общие заключения, и это частенько сбивало с толку учреждения и товарищей, которые ведали свыше делами строительства. Толки, слухи, сплетни, клевета и злопыхательство рождались вокруг строительства и его работников, как рождаются после дождика грибы в роще: десятками в день, и каждый следующий на голову перерастал предшественника. Это страшно нервировало людей и необычайно усложняло и без того грандиозную стройку. Не раз, как известно, когда работы были уже в полном ходу, пересматривался вопрос о Волховстрое и раздавалось немало голосов, настаивавших на прекращении строительства. Не раз стояло перед угрозой полного и гибельного срыва это исключительное, героическое дело, относительно которого говорилось в свое время с трибуны Союзного с'езда, что окончание его в 1925 году будет тем же, чем был Октябрь в 1917... Самый критический и тяжелый момент был в 1923 году, когда почти вынесено уже было решение о консервации строительства; положение спасли на этот раз кессоны, с предусмотрительной поспешностью спущенные инженерами в воду; раз река была прегражденa, волей-неволей пришлось продолжать...

И Волховстрой вырос все-таки, сломав все преграды и очистившись от мусора, которым облепляли его на протяжении стольких лет, и засиял тысячами своих чудесных огней...

Тем, что у нас есть эта станция — страна в огромной мере обязана Владимиру Ильичу Ленину, который был первым человеком по существу и до конца оценившим колоссальное политическое и экономическое значение этого сооружения для Союза и до конца защищавшим его в самые черные и тяжкие его дни. Когда в 1918 году через тов. Смидовича Ленину переданы были проект и смета Волховстроя, Владимир Ильич написал на докладе памятные и решающие слова:

— Надо строить.

Сколько раз потом два простых этих слова спасали положение и останавливали занесенную уже над станцией руку! Сколько раз они подымали в минуты отчаяния и уныния дух и веру людей, по указанию Ленина доведших до блестящего конца Волховстрой, который в Европе называют национальным сооружением новой России, и который войдет, несомненно, одной из самых блестящих, самых героических и самых смелых эпопей в историю революции!

Я глядел в окно на убегающие волховские огни, и мне вспоминался один замечательный и очень характерный эпизод прошедших, незабываемых лет.

В 1920 году советскую Россию посетил английский писатель, романтик и утопист Герберт Уэллс. Он был принят Владимиром Ильичем Лениным, и в разговоре, который произошел меж-

ду ними в Кремле и был затем описан Уэллсом в его книге «Россия во мгле», Ленин коснулся между прочим, вопроса об электрификации советской страны. В то время как раз образована была государственная комиссия по электрификации России, и восьмой С'езд советов утвердил исторический план ее великих работ.

— Известно ли вам о том, что делается в этом смысле в России? — спросил Ленин.

«Дело в том, — замечает Уэллс, — что Ленин хотя и отрицает, как правоверный марксист, всякие «утопии», но, в конце концов сам вдался в электрическую утопию. Он всеми силами поддерживает план организации в России гигантских электрических станций, которые должны обслуживать целые области светом, водой и двигательной силой; он уверял меня, что две такие опытные станции будто бы уже существуют. Можно ли вообразить более смелый проект в обширной плоской стране с бесконечными лесами и неграмотными мужиками, с ничтожным развитием техники и с умирающей промышленностью и торговлей? Такого рода электрификация существует уже в Голландии, говорили о ней и в Англии, и весьма возможно, что в этих густо населенных и промышленно-развитых странах она увенчается успехом и окажется делом полезным и экономным. Но вообразить себе применение ее в России можно лишь с помощью очень богатой фантазии. Я лично ничего

подобного представить себе не могу. Но этот маленький человек в Кремле, повидимому, может; он видит, как пришедшие в упадок железные дороги будут заменены электрическими, как вся страна покроется сетью таких дорог и станций, и как разовьется новая, коммунистическая промышленность. Он говорил с таким жаром, что пока я его слушал, я почти поверил в возможность этого.

— Но ведь все это только эскизы, наброски...

— Приезжайте еще раз! — ответил Ленин! — приезжайте в Россию через десять лет, и тогда поговорим и посмотрим, что будет сделано...»

Ни в таланте, ни в фантазии Уэллсу, автору «Машины времени», отказать нельзя. Но это был типичный либерал, либеральный мечтатель, строго ограниченный, хоть это и может показаться парадоксальным, рамками своей эпохи, своего общества и тех представлений, мнений и традиций, которые господствовали в его среде. Он был романтик, но не революционер, фантазер, но не человек, способный претворять эти фантазии и большие социальные идеи в жизнь. Электрификация в России, где ездят на волах, обуваются в лапти и пашут сошками, напоминающими палки первобытных дикарей, где едва набирается десяток грамотных на сто душ населения, и губерниями управляют люди, никогда не читавшие ни Бокля, ни Макалея? Торжество электри-

ческого света, торжество величайших политических и технических идей в стране, избы которой освещены лучинами, живое тело которой раз'едают еще тифозные вши, по полям которой бродит еще, закинув свою страшную косу за плечи, призрак голода и смерти?! Как тема для смелой утопии это еще могло бы, быть может, увлечь и воодушевить Уэллса, но попытка облечь эту утопию в плоть и кровь, обратив ее в реальное содержание сегодняшнего революционного дня, не могла вызвать ничего, кроме скептической и снисходительной улыбки на его лице. Не безумие ли это говорить об электрическом солнце, об электрических поездах и плугах, о миллионах, о миллиардах киловатт-часов на заседаниях, которые протекают... при свете керосиновых коптилок и каганцев? Даже Уэллс, мечтатель и фантазер Уэллс, отказывается верить пламенным словам о завтрашнем нашем электрическом дне, звучащем тогда с трибуны русской революции. Даже Уэллс, романтик Уэллс, не нашел в своем арсенале утописта масштаба, с которым можно было бы подойти, отрешившись от обычных представлений о законах, формах и темпах хозяйственных процессов и развития—к событиям, которые происходили в советской России. Даже он не в состоянии оказался предвидеть, какой неслыханный творческий под'ем, какие огромные творческие силы, какие необ'ятные новые возможности вызовет к жизни революция в этой

стране, над которой только-только водружал свой красный стяг победивший пролетариат. Даже он, Уэллс, слушал Ленина с тем же чувством, с каким следит за полетом орла курица, для которой верхом дерзаний является забор ее усадьбы.

— Но ведь тут только эскизы, наброски...— недоверчиво сказал он и слегка и учтиво усмехнулся, вероятно, и слегка и учтиво пожал плечами.

— Приезжайте через десять лет, — ответил Владимир Ильич, и сощурился, вероятно, и знакомые лукавые искры зажглись, вероятно, в его глазах...

Смешно винить, конечно, кур в том, что они не парят под облаками. Но ход истории и ход революции нисколько не меняется от того, что им не дано это, и они не в состоянии поднимать головы, чтобы видеть и понимать, что происходит вокруг и выше них. Как много мы могли бы показать нищему романтику Уэллсу сегодня, спустя десять лет после этого разговора с «кремлевским мечтателем» в Москве! Какую блестящую электропанораму мы развернули бы перед ним взамен тех... двух станций, о которых говорил ему тогда Владимир Ильич и в реальное существование которых он отказывался, видимо, верить. «Будто бы существуют!» Не страну во мгле, а страну, над которой восходит электрическое солнце, увидел бы те-

23994

перь Уэллс, пожелай он повторить свое путешествие на восток и посмотреть, как претворяется в жизнь одна из величайших утопий, которые когда-либо знал мир!

Мы бы показали знатному гостю сверкающий огнями Волховстрой, мы бы напомнили ему замечательную историю этой единственной в своем роде постройки. Разве эта эпопея умещалась в рамках обычных представлений о том, как создаются электрические гиганты? Разве это не творилась утопия, над которой посмеивался, разговаривая с «кремлевским мечтателем» в Москве, смелейший фантазер Уэллс? Разве в какой-нибудь другой стране, кроме революционной страны, в какое-нибудь другое время, кроме нашего, при каком-нибудь другом социальном строе — возможна была такая вещь, такой акт всенародного творчества?

Мы бы пригласили Уэллса на Днепр, в места, где когда-то были пороги. Днепрострой рассчитан на 810 тысяч лошадиных сил; это будет, это уже есть наполовину самая большая водяная станция в мире. В мире, не в России, которую Уэллс видел во мгле! Вода у ее плотины подымается на 37 метров в вышину, заливая берега, на которых сносятся все села и деревеньки старой России, на сто километров вверх. Ее ток будет дан и побежит отсюда по бесчисленным проводам во все стороны, на десятки километров вокруг и в новый комбинат днепровских заводов,

и в Донбасс, и в Запорожье, и в Днепропетровск, и в Кривой Рог с его металлургическими заводами. Темпы, которыми строится Днепрострой, по свидетельству крупнейших авторитетов этого дела, не только превосходят американские, но вообще являются, опрокидывая все обычные сроки и расчеты, единственными в мире. Разве это не творится утопия, если страна, обутая в лапти, показывает такой блестящий образец и взяла и держит такой размах работы?

Мы бы попросили романтика Уэллса взглянуть на Шатуру, которая дымит под Москвой. Это— самая мощная торфяная станция в мире. Мы бы прокатили его в Каширу: на этой станции впервые практически разрешен открывший огромную новую перспективу вопрос об утилизации подмосковного угля. Мы бы проехались с фантазером Уэллсом в Тифлис; сейчас у нас есть уже десятки станций на окраинах, но Земо-Овчальская была первой, построенной в национальной республике, пробужденной сейчас к жизни народом, который впервые в истории получил возможность жить и творить. Мы бы пригласили его в Саратов, где осуществлен смелейший в истории техники эксперимент, и кабель новой станции проложен по дну Волги под водой, и в Штеровку, и в Шахты, и в Сталинград, и в Киев, и в Челябинск, и в Нижний, и в Казань, и в Брянск, и в Краснодар, и в Новороссийск. Мы повернули бы выключатель, и сотни

красных огоньков, вестников наступившей революции, вспыхнули бы перед ним на карте новой России повсюду, от Мурманска до Терека, обозначая места, где советские станции вступили уже в работу, где на смену прежней лучине пришла уже лампочка «кремлевского мечтателя». Мы повернули бы выключатель вторично — и взамен красных — вспыхнули бы, обозначая места новых строительств, сотни голубых огней на этой замечательной карте, — от Свири и Сяси до далекого Риона. Что сказал бы теперь романтик Уэллс, снисходительно улыбавшийся десять лет тому назад словам Ленина, творца и вдохновителя гениальной «электрической утопии» в советской России? Что сказал бы он, если бы, покончив со столицами, с городами, мы двинулись бы с ним в Богородск, в Ворсу, Павлово, Лаптево, в волоколамскую деревеньку Ошейкино, в село Марфин Брод под Можайском, на Шунгенские хутора в Костромском районе, — и он увидел бы, кроме десятков электрических гигантов, провода которых смыкаются в центрах нашей крупной промышленности, сотни маленьких станций, несущих свет и энергию в наши кустарные и земледельческие районы, в местечки и глухие деревни с «приросшими к земле мужиками»? Что сказал бы он, увидев электрические поезда на северных наших дорогах, электрическую пахоту на Кавказе, электрические инкубаторы под Москвой и заводы азотистых удобрений при электростанциях в Чирчике и Дзорагетах? Что бы он сказал, взглянув на сухие статистические таблицы, которые, как сводку исключительных побед, нужно бы, в сущности, миллионами экземпляров отпечатать и распространить сейчас по всей стране, чтобы их прочли, чтобы их поняли и взволновались ими в каждом уголке необ'ятной республики: **мы производим сейчас электрической энергии в восемь раз больше, чем производилось ее в последние годы перед войной в старой России.** Общая выработка электрической энергии в 1928 году определялась у нас цифрой в пять с половиной миллиардов киловатт-часов; а к 1933 году эта цифра, увеличившись в четыре раза, достигнет уже **двадцати двух миллиардов.** Двадцать два миллиарда киловатт-часов! Это несмотря на то, что программа электрификации осуществлена пока только частично, и целый ряд крупнейших станций только отстраивается еще, не вступив в строй; несмотря на то, что Советский Союз был все эти годы и остается пока единственной страной победившего пролетариата в мире, страной, замкнутой в кольце врагов, страной, над которой висит постоянная и страшная угроза войны; несмотря на все чудовищные трудности, наконец, с какими сопряжен путь электрической лампочки, победоносно шествующей на смену каганцу, в России, сохранившей столько средневековых традиций и суеверий, столько косности, лени, дико-

сти и невежества в наследство от прошлых лет? Насколько же жизненной и реальной оказалась эта величайшая идея революции, если даже в этой трудной обстановке она так блестяще претворяется в жизнь! Насколько же близким, понятным и кровным стало это исключительное по своим масштабам и значению дело для широких масс страны, если с такой огромной радостью, с такой прекрасной гордостью и волнением был отпразднован у нас недавно исторический день десятилетия государственной комиссии по электрификации, день, превратившийся в народный праздник в республике?

Что бы сказал профессиональный утопист, романтик и фантазер Уэллс, посмотрев на все это и увидев тысячи электрических солнц, которые загорелись сегодня, знаменуя новую жизнь, новую эпоху в прежней «мгле» советской России? Усмехнулся бы снисходительно, как десять лет тому назад? Пожал бы плечами? Написал бы еще несколько талантливых, но близоруких строк о «мечтателях из Кремля»? Или, может быть, он бросил бы в печь и сжег свои утопии?..

II

По Мурманке. — Извозчик или колонизатор? — На костях военнопленных. — Быть или не быть? — Ларец с сокровищами. — Рязано-канадский эксперимент. — Ключ найден. — Героика будней. — Чему учит опыт мурманцев? — О людях.

Мурманская железная дорога, рельсы которой, прорезая олонецкую и кемскую глушь и пустынные тундры Кольского полуострова, ведут от Ленинграда к берегам Северного Ледовитого океана, представляет собой совершенно новый у нас и исключительно интересный тип дороги, которая играет организующую, а не подсобную роль в жизни и хозяйстве всего огромнейшего северного края. Это не только и не столько перевозчик, сколько созидатель ценностей; это не обычная российская «чугунка», но многогранный хозяйственный комбинат, сложной и стройной системой мер впервые вызывающий к жизни дикую эту «страну непуганных птиц», по тихим перелескам которой пролегают его завоевательские пути. Это — первая попытка применить в русской практике богатый и блестящий колонизационный опыт канадских железных дорог, опыт, который, несомненно, не раз еще будет использован

у нас в процессе стремительного освоения необ'ятных безлюдных земель наших и богатств, мертвым грузом раскинутых повсюду в бескрайних просторах страны полунищих миллионеров.

С каждым днем все настойчивее встает у нас вопрос о необходимости форсировать строительство новых железных дорог, ибо транспорт оказывается узким местом в системе народного хозяйства страны; с каждым днем споры и разговоры о том, как именно, где именно, с каким именно экономическим и политическим расчетом строить эти новые дороги приобретают все большую и большую остроту и актуальность. Какую роль должен играть у нас транспорт — ведущую или подчиненную? Надо ли ему быть и оставаться только «извозчиком», пассивным грузовозом, или он должен занять почетное место одного из организаторов хозяйства страны? Должны ли новые советские дороги пролегать исключительно в места с готовым грузом, или их надо также строить и с таким расчетом, чтобы они сами создавали для себя, оживляя дремлющие земли, эти новые грузы? Это — вопрос огромной принципиальной и практической важности, вопрос, с которым самым тесным образом связана вся проблема хозяйственной реконструкции в целом: и маленький скромный опыт Мурманской железной дороги, которая является пионером железнодорожной колонизации, в советской России, кое-чему сможет, вероятно, здесь, научить. Во всяком случае, он заслуживает того, чтобы к нему присмотреться.

Мурманская дорога прорезывает огромный, дикий, угрюмый и совершенно безлюдный край с площадью, которая по размерам равна примерно площади Великобритании. В среднем здесь приходится не больше одного-двух человек на квадратный километр. Это выглядит почти как пустыня, даже по сравнению с русскими центральными губерниями; в соседней же Финляндии, например, плотность населения выше в девять, в десять раз. Едва ли, однако, царское правительство преследовало колонизационные цели, приступая к постройке Мурманской дороги; это была случайная и вынужденная постройка, а не постройка, сознательно рассчитанная на то, чтобы вызвать к жизни и включить в систему народного хозяйства необжитой и богатейшей, как золотые прииски, район. Мировая война отрезала для России водные пути в Европу, ибо с первых же ее дней все порты Черного и Балтийского морей фактически оказались закрытыми, а один Архангельск справиться с потоком грузов, конечно, не мог. К тому же, это был замерзающий порт, и бесперебойная зимняя работа в нем была связана с огромными трудностями и затратами. В эти именно первые дни войны четырнадцатого года в правящих сферах и вернулись к старому, много раз и всегда безрезультатно выдвигавшемуся проекту о соору-

жении северной дороги и порта на Мурмане в незамерзающих океанских водах. Это была единственная возможность частично прорвать плотное кольцо военной блокады; это было единственное место, где оставалось тогда «ногою твердой стать при море». Проект был спешно обсужден и принят, и ранней весной 1915 года на Мурмане приступили уже к работам. Дорога строилась с быстротой, совершенно беспримерной и неслыханной в нашей обломовской практике: весь путь от Петрозаводска до Мурманска, протяжением в тысячу с лишним километров, был уложен в полтора года. В полярных условиях, в условиях совершенно дикого, безлюдного края, это было чертовски трудным, титаническим делом. Из тысячи километров полотна — двести семьдесят пролегали по болотам, которые надо было осушать, засыпать, обходить. Там, где не было болот, путь преграждали леса, в которых никогда не ступала еще нога человека, и в девственной чаще которых с боем приходилось брать, прорубая трассы и прорываясь к океану, каждую пядь земли. Там, наконец, где не было ни болот, ни лесов, полотно прорезали порожистые местные реки и ручьи, преграждавшие путь буквально на каждом шагу; свыше тысячи мостов и искусственных сооружений пришлось возвести на дороге, прежде чем стало возможным пустить первый поезд по этой завоеванной земле! Здесь не было ни людей, ни жилья, ни продовольствия, ни лошадей, ни проезжих

грунтовых дорог; как в первобытные времена в первобытной стране, все приходилось начинать и строить сначала и все завозить огромными партиями извне. Непривычный климат, сплошные дни короткого лета и сплошные полярные ночи долгой и жестокой зимы, когда работы шли при факелах, страшные северные вьюги и бураны, холод, голод, болезни и лишения изнуряли и пугали бежавших отсюда людей; на смену им вербовали тотчас же других, гнали сюда партии военнопленных из лагерей, завозили покорных китайских кули с Дальнего Востока. Немцы, мадьяры, украинцы, волгари, венгры, турки, белоруссы, поляки, сибиряки, карелы, финны, лопари, китайцы, — тысячи людей разных национальностей, разных культур, разного облика, с разными языками, привычками, представлениями и потребностями смешались в этом интернациональном рабочем таборе. Они не понимали друг друга и об'яснялись знаками; это напоминало легенду о вавилонской башне. Но борясь за кусок хлеба, понукаемые страхом тяжелых наказаний, шаг за шагом, по лесам и болотам, стуча топорами, обливая своим потом, устилая своими костями каждую пядь земли, они продвигались вперед, к океану, — и башня не рухнула, но вздымалась все выше и выше и была окончена и завершена. Осенью 1916 года были сомкнуты рельсы на последнем километре пути, и, взорвав вековую тишину и спокойствие сонных тундр и наполняя торжествующим ревом

перелески, прошел первый сквозной поезд из Ленинграда в новый город на океанском побережьи. Город пышно был назван вначале «Романов на Мурмане»; скоро первое слово было упразднено за ненадобностью, и осталось просто — Мурманск.

Путь в тысячу километров длиной был уложен в семнадцать месяцев. Это была рекордная скорость, которой изумлялись и восхищались тогда и у нас, и в Европе.

Но это имело и оборотную сторону.

Новая дорога была сдана в эксплоатацию недостроенной и необорудованной, с легкими бараками и теплушками взамен жилых и служебных корпусов, с пилообразным профилем пути, с временными мостами, с уклонами и кривыми, настолько отступавшими от принятых норм, что казалось вообще непонятным, как будут ходить по этому полотну поезда. В нормальных условиях движение здесь было бы невозможно. Но черноморские и балтийские порты оставались закрытыми, но сквозь кольские тундры и болота пролегал сейчас единственный путь к морю, но в новый северный порт тянулись уже, прокладывая диагонали на картах, первые пароходы союзников—и Мурманска была все-таки открыта... Поезда шли по ней осторожно, как ходят слепые в незнакомой местности, палкой ощупывая дорогу впереди; под ними оседала и осыпалась насыпь, скрипели и точно прогибались легкие мосты, расходились рельсы на стыках. Все было сметано на живую

нитку, и дорога походила на дом, в который в'ехали раньше, чем там успели настлать полы и вставить рамы в окнах.

Такою же она перешла в дни революции и в НКПС. Комиссия, специально обследовавшая Мурманку уже в 1922 году, пришла к заключению, что нужно вложить в нее, чтобы выправить путь, упорядочить парк и хоть кое-как оборудовать станционные и ремонтные службы, не меньше 40 миллионов рублей.

В то время выкроить такую сумму в бюджете не представлялось, однако, возможным, и само собою встал вопрос о консервации дороги, которая была дефицитна и целесообразность самого существования которой казалась тогда чрезвычайно спорной. Зачем, кому она нужна здесь, эта дорога, в необитаемых тундрах и болотах, где нет ни людей, ни грузов для перевозок и приходится гонять составы порожняком? Зачем, из какого расчета вкладывать сюда такие огромные средства на оборудование, когда заваленные грузами центральные дороги так остро нуждаются в деньгах, и каждая копейка на счету сейчас в хозяйстве, оправляющемся от потрясений войны и революции? Мурманку решено было закрыть и законсервировать. Это был бы, конечно, наиболее простой и легкий выход из положения. Но этим самым недостроенная и брошенная Мурманка обречена была бы на окончательное разрушение. Этим самым огромнейший край, в котором благодаря дороге на-

чинала уже первыми проблесками теплиться жизнь, опять был бы возвращен в первобытное состояние, превратившись в пустыню. Этим самым бесценные богатства Карелии и Мурмана, сулившие в будущем миллиардные доходы стране, оставлены были бы попрежнему бесцельно и бессмысленно гнить и погибать в безлюдных просторах севера. Процесс хозяйственного освоения Мурмана фактически отодвигался бы этим в неопределенное будущее, на целый ряд лет, а может быть и десятилетий, ибо, если так трудно было достраивать старую дорогу, то строить новую, когда старая, предоставленная самой себе, окончательно придет через несколько лет в упадок—было бы еще трудней. Вопрос о дороге сводился фактически к вопросу о судьбе и будущности всего северного края; и как будто эта судьба была предрешена...

Между тем, он выглядел, этот далекий край, как ларец с сокровищами, которые ждали только, чтобы пришел человек, подобрал ключ и ахнул, открыв крышку.

В Карелии и на Мурмане раскинулись леса, которые, не истощаясь, в виде одного только естественного прироста, способны давать стране около двадцати миллионов фест-метров самой высокосортной древесины в год; валовая выручка такого массива, даже и в том случае, если брать из лесов лишь сырье, не организуя промышленной и химической переработки дерева на месте, определяется ежегодной грандиозной суммой, примерно в 200 миллионов рублей. Ведь в Карелии и на Мурмане сосредоточились богатейшие рыбные промыслы на побережьях. Промыслы, уловами которых, если бы они широко и рационально были поставлены, по горло можно было бы кормить весь Союз. Здесь скопились в озерах необ'ятные залежи первосортных железных руд, залежи, о которых говорится еще в финском «Калевале», которые насчитывают десятки миллионов тонн и имеют, несомненно, всесоюзное промышленное значение. Здесь залегали крупнейшие в республике массивы превосходных, разносортных мраморов и строительного диабаза и такие огромные жилы шпата, слюды, баррита и шунгита, которые на десятки лет могли бы обеспечить сырьем химическую промышленность страны. Здесь ловили когда-то жемчуг в северных реках, добывали когда-то золото и серебро в заброшенных теперь рудниках, здесь раскинулись необ'ятные и отличные оленьи пастбища в тундрах, и массивы, точно самой природой предназначенные быть заповедниками бесценного северного пушного зверя. Наконец, тут раскинулась при таком изумительном, почти фантастическом средоточии природных богатств и возможностей единственная, пожалуй, в мире дешевая и удобнейшая система водных путей из бесчисленных, повсюду рассеянных в этом крае озер; наконец, тут имелся безграничный запас местного топлива, в виде лесных отбросов и торфа, чудовищным пластом

залегающего повсюду в тундровых бол х; наконец, здесь скопилось около миллиона шадиных сил даровой электрической энергии местных реках и бесчисленных водопадах — оличество, достаточное, чтобы дать дешевый ток на каждый квадратный метр земли от Ленинграда до Мурманска! Все это вместе создавало совершенно исключительную, почти сказочную хозяйственную перспективу для края.

И вот все это приходилось бросить потому, что не хватало средств, чтобы достроить и поддержать дотациями созданную с таким трудом дорогу, которая, единственно, конечно, и могла лько оживить эту безлюдную пустыню, вызвав к изни ее богатства, на протяжении сотен лет м вым грузом лежавшие здесь в необитаемой ле... Это казалось почти неизбежным, и в то ж емя это было нелепо, обидно и граничило с ступлением.

И тогда наметилась и, в итоге длинных и горячих, но малоизвестных споров, победила неожиданно другая точка зрения. Дороге предложено было самой достроить себя, не прибегая к помощи казны. Если нет денег в несгораемых шкафах в управлении — их нужно суметь взять в земле, в озерах, в лесах, в горах, примыкающих к мурманскому полотну. Если нет людей—их надо привлечь сюда на выгодные разработки. Если нет грузов со стороны — их надо создать на месте, организовать промыслы и

производства в местах с неисчерпаемыми ресурсами сырья, оживляя всем этим край и его богатства и в то же время покрывая перевозками товаров и людей свои дефициты, и попутно достраиваясь и оборудуясь.

Дороге не дали ни копейки денег, но отвели в ее распоряжение огромный массив в три миллиона га нетронутой, девственной земли, лесов, тундры и болот. Ей дали закрытый и запертый на семь замков ларец с сокровищами; она должна была подобрать теперь ключ! Как угодно распоряжаясь мертвым богатством, которое было ей выделено в этих лесах, где никогда не стучали еще топоры дровосеков, в этих болотах, по которым никогда не ступала еще нога человека, в этих водах, где никогда не закидывались еще невода — она решительно ни в чем не должна уже была рассчитывать в дальнейшем на помощь государства, превратившись в совершенно самостоятельный хозяйственный комбинат.

Легко сказать, однако! Это был опыт совершенно новый в наших условиях вообще, и особенно тяжелый и сложный в обстановке, когда только-только начинали складываться еще новые формы хозяйства и жизни в стране, едва вступившей в первые дни строительства. Шаг за шагом приходилось брести здесь ощупью, беря один за другим труднейшие под'емы и преодолевая к тому же общее равнодушие и скептицизм. Мало кто верил в удачу этого дела и почти никто не интересовался

его судьбой; прямые руководители консервативнейшего из ведомств, на обязанности которого лежало руководить работами на Мурманке и всячески их форсировать, поддерживать и поощрять, вместо этого только острили, отмахивались насчет «рязано-канадского эксперимента»; в высших и местных хозяйственных органах этот опыт и по сей день не оценен так, как он этого заслуживает, а вначале на него смотрели просто как на чудачество; печать, странным образом обходя все время интереснейшее существо вопроса, никогда не упускала в то же время случая пошуметь по поводу отдельных его мелких недостатков и промахов. Обстановка, в которой приходилось работать на Мурманке, и без того тяжелая, безмерно осложнялась этим общим равнодушием, и даже каким-то непонятным, скрытым пассивным сопротивлением; не преувеличивая можно сказать, что группа товарищей, которой было поручено это дело, от начала и до сегодняшних дней вела и ведет его, фактически предоставленная самой себе, почти лишенная фактически какой бы то ни было поддержки со стороны, — в условиях, в которых были тысячи причин и затруднений, заранее обрекавших как будто весь опыт на скандальный и тягостный провал. И все-таки провала не случилось, и сейчас, когда прошло несколько лет «канадизации» и подведены кой-какие итоги, можно твердо сказать уже, что ключ к ларцу найден, опыт удался и «чудаческая» идея достаточно показала свою жизнеспособность. Может быть, и даже наверно, если бы не ошибки и не «об'ективные» моменты, все могло бы сложиться еще лучше, и результаты оказались еще значительней и интересней; но и того, чего удалось добиться, достаточно, чтобы стала очевидной практическая возможность железнодорожной колонизации в советских условиях. И это — главное. Ошибки — как было избежать их в живом, сложном и совершенно новом деле?

История советской Мурманки представляет собой эпопею, рассказать о которой на нескольких страницах главы положительно невозможно даже в самых общих чертах, — так она грандиозна, такого огромного внутреннего смысла и содержания и незаметной, повседневной героики она полна. Когда-нибудь об этом будет написана целая самостоятельная книга, и это будет увлекательнейший роман и анализ единственного в своем роде хозяйственного нашего эксперимента — одновременно; это будет захватывающая и полная пафоса книга о настоящих людях, точно сошедших в эти дикие места с романтических страниц северных рассказов Джека Лондона. Мне же придется сказать лишь о конкретных результатах, достигнутых Мурманкой за эти годы, о ее цифрах; облеченные в плоть и кровь, переведенные на язык живой жизни, и они не скучны, впрочем, и об очень многом и очень ярко говорят.

Чтобы освоить те мертвые богатства, которые

были предоставлены дороге, чтобы определить возможности и методы их эксплоатации — их прежде всего нужно было изучить. И Мурманка широко развернула исследовательскую работу в крае, проникая в самые захолустные, в самые сокровенные его уголки. Именно ей мы обязаны открытием апатитов в Хибинах, фосфоритных залежей мирового значения и масштабов; именно Мурманка, организовав сеть опытных агрономических пунктов в кольской глуши, впервые установила возможность культурного сельского хозяйства за полярным кругом; именно ей принадлежит честь издания целого ряда специальных и популярных книг и журналов, впервые широко ознакомивших страну с лицом и экономическими возможностями и перспективами северного края. Десятки экспедиций из года в год снаряжались и отправлялись дорогой из Ленинграда в полярные кольские тундры, в горы и леса; они колесили по краю, они собирали и кропотливо обрабатывали материалы, подбирая ключ к тому ларцу с мертвыми сокровищами, из которого единственно могла черпать средства, чтобы существовать и достраиваться, Мурманка. Там, где открывались к этому хозяйственные возможности — сооружались и возникали новые предприятия, заводы и разработки. Именно Мурманкой развернута сеть первых лесопильных заводов на Коле; именно она является пионером рыбоконсервного производства в крае, производства, которому предстоит

совершенно исключительное будущее; именно ее заботами поддерживалось и развивалось все эти годы рыболовное дело на побережьи, оборудован целый ряд пристаней, факторий, складов и посольных пунктов и баз, где впервые развернут сейчас тралловый промысел в открытом море, и впервые делают попытки поднять лов и переработку рыбы на высоту современной европейской техники.

Приняв отведенный ей земельный фонд и приступив к эксплоатации его богатств, Мурманка тем самым взяла на себя роль **организатора хозяйства и колонизатора края вообще**. Потому что, в первую очередь, чтобы освоить эти богатства, нужны были, конечно, люди, нужны были человеческие руки. И дорога развернула переселенческую работу, вербуя колонистов в центральных губерниях, перевозя их сюда и создавая поселок за поселком вдоль пути, по которому пролегали ее рельсы. Каких-нибудь специальных средств на это дело не было; их приходилось искать и черпать в лесах, горах и болотах, отчислять их из доходов, которые быстро начали давать создаваемые в «полосе отчуждения» промышленные предприятия. И это была тяжелая и неблагодарная работа. Люди шли очень неохотно в незнакомые, дикие и необитаемые края. Вербовать их приходилось почти единицами, борясь за каждого человека, за каждую семью. И все-таки за эти годы Мурманке удалось переселить сюда свыше **пяти тысяч** человек; к концу пятилетки

эта цифра должна утроиться, и здесь разместится на освоенных, на осушенных болотных землях уже пятнадцать тысяч людей. Пятнадцать тысяч! На первый взгляд эта цифра кажется скромной; но надо знать и видеть тундру, чтобы понять, как много значит это для края!

Люди переселялись сюда на дикие, полярные земли, на которых росли до сих пор одни лишаи в тундрах, и о которых раз и навсегда принято было думать и говорить, как о мертвых землях. Блестящая работа созданных Мурманкой опытных станций в Хибинах и в Лоухах целиком опровергла, однако, это ходячее представление. Я вернусь еще к этой увлекательной теме, этой замечательной работе, знакомиться с которой приезжают сюда, восхищаясь, даже ученые крупнейших европейских столиц и научных учреждений. Важно то, что мурманскими агрономами с несомненностью установлено сейчас, что культура высоких кормовых трав — клевера, вики, тимофеевки, культура корнеплодов—турнепса, свеклы, и культура любых овощей практически вполне возможны и дают на осушенных болотных полях огромные урожаи решительно повсюду здесь, за полярным кругом, вплоть до берегов Северного Ледовитого океана! Это — открытие исключительной важности; оно впервые устанавливает и открывает реальную возможность культурного молочно-животноводческого хозяйства на нашем севере, на безрадостных землях, относительно которых всегда принято было думать, что они неспособны родить и обречены на вечный мертвый покой. Это открывает огромную перспективу перед Мурманом и очень скоро это повлечет за собой целый переворот в его хозяйстве, быту, жизни; и всем этим мы целиком обязаны Мурманке, без гроша в кармане поставившей на такую высоту исследовательскую работу в крае. Мы обязаны ей не только лабораторным открытием, но и широкой практической работой, ибо, установив возможности полярного земледелия, она приступила тотчас же к культуре болот, широко развернула эту работу, осушив и устроив сейчас в своих отводах свыше четырех тысяч гектаров земли. Через два года эта цифра увеличится в четыре раза; шестнадцать тысяч гектаров непроходимой трясины, где росли до сих пор только дикие, унылые мхи, будут превращены в цветущие, радостные поля, на которых раскинутся — и уже раскидываются — богатейшие угодья, фермы с тракторами, с маслобойками, со стадами молочного скота! Так завоевывается, так творится новая жизнь...

Параллельно с освоением земель, с опытной и разведочной работой и заселением устроенных участков, колонизационный отдел, образованный в системе дороги, разворачивал и школьную, и больничную сеть, и благоустройство в крае. В одни только новые школы, не считая ремонта и восстановления старых, Мурманкой вложено было за эти годы около трех миллионов рублей; в

этот же промежуток сооружена была великолепная санатория в Медвежьей Горе, проведен первый во всем крае водопровод в Мурманске, организованы коммунальные хозяйства в переселенческих поселках, проложен ряд грунтовых колесных и автомобильных дорог. Все это делала дорога, с формальной стороны совершенно не обязанная в конце концов этим заниматься; ее задачей было только ведь достроить себя, использовав мертвые богатства отведенной ей полосы, но отнюдь не насаждать культуру в крае. Все это делала дорога, которой не было отпущено на эти «посторонние» дела ни одной копейки из казны, дорога, которая сама постоянно и остро нуждалась в деньгах, с трудом покрывая постоянные дефициты первых лет. Многие ли из наших хозяйственных организаций, поставленные на место и в тяжелые условия Мурманки, сумели бы взять, преодолев ведомственную узость, такой общественный размах и найти такую правильную политическую линию в работе?

Огромные средства, которые из года в год требовал и поглощал колонизационный отдел, приходилось черпать исключительно в самой же системе комбината. На помощь приходили тут Желлес и Желрыба, особые отделы, организованные в системе комбината для эксплоатации отведенных дороге богатств и покрывавшие своими прибылями и все расходы по колонизации, и дефициты самой Мурманки.

Желлес, то есть особый лесной отдел дороги, широко поставил работу в отведенной Мурманке полосе, развернув сеть под'ездных веток и ледяных эксплоатационных дорог, создав собственный флот для озерных перевозов, отстраивая лесопильные заводы, работая и на самую дорогу, и на внутренний рынок, и на экспорт. За эти годы в отводе выросло четыре новых больших лесопильных завода, которые обошлись Мурманке почти в три миллиона рублей, проложено свыше ста километров под'ездных путей в лесах, создан ряд шпалорезных и деревообделочных мастерских и проделан огромный труд по механизации лесных разработок в дачах. Продукция Желлеса росла из года в год; оборот его с трех миллионов рублей в 1923 году дошел до двадцати одного миллиона в 1929 году, то есть увеличился за это время в семь раз. И это при полном почти отсутствии оборотных средств, при условии, что леса перешли в ведение Мурманки в совершенно диком, хаотическом состоянии, при необходимости ежегодно завозить и рабочую силу, и лошадей, и продовольствие на разработки извне, из центральных губерний. Один только этот завоз ежегодно обходится Мурманке в полтора миллиона рублей; каким же огромным накладным расходом должно было это ложиться на производства! И все-таки шпалы, например, которыми Мурманка снабжает не только себя, но ряд других дорог сети, оказываются здесь почти вдвое дешевле средней рыночной це-

ны, и все-таки доходность с гектара леса в два с половиною раза превышает здесь сейчас обычную для местных лесов доходность. Основной капитал Желлеса с 38 тысяч, с которыми он начал дело в 1923 году, вырос сейчас почти до четырех миллионов рублей; накопление, которое и не снится нашим хозяйственникам! И все-таки при всех этих тяжелых условиях за первые четыре года работы Желлес чистоганом внес в кассу дороги, на покрытие других ее нужд, свыше семи миллионов рублей!

Так же работала и Желрыба, создавая и оборудуя промыслы, фактории, пристани, склады, посольные и консервные пункты и базы на побережьи, организуя лов и из года в год увеличивая свои обороты и сдавая прибыли в кассу Мурманки на достройку дороги и колонизацию и оживление края.

Оба эти процесса разворачивались параллельно, дополняя друг друга. Через лесной и рыбный отделы, как звенья единого хозяйственного организма, Мурманка создавала для себя грузы десятками миллионов пудов и поднимала свою доходность. Создавая же грузы, дорога неизбежно должна было вдохнуть жизнь в пустующие просторы тундр и дикие заросли северных лесов; и эта жизнь действительно зародилась и росла и растет там с каждым днем. Выше мы говорили о пяти тысячах людей, переселенных на Мурман комбинатом; но эта цифра совершенно не характеризует общего

прироста и притока населения в крае, связанного с работой дороги. По отдельным местам, где создавались промышленные базы Мурманки, население успело уже возрасти за это время в несколько раз, разбивая все новые и новые поселки и городки вокруг этих новых предприятий. За эти годы денежные вложения комбината в хозяйство выразились суммой в двадцать три миллиона рублей; эта сумма целиком осела в хозяйственных каналах самого края. Как же должно было отразиться это на его экономике, как должно было изменить это его лицо!

И в то же время, завоевывая тундру, мурманцы ни на минуту не забывали, конечно, о необходимости поставить на ноги самое дорогу, во имя чего, собственно, и был предпринят весь этот эксперимент. И если нельзя еще сказать сейчас, что дорога достроена и дооборудована окончательно, то, во всяком случае, за эти годы она приведена в состояние, в котором, безусловно, может уже быть включенной и включена в общую эксплоатационную сеть. Путь по всей линии балластирован, насыпи досыпаны, профиль смягчен, радиусы кривых и под'емы доведены до обычных норм, пассажирский парк и станционные службы приведены в порядок, временные мосты усилены, и частично заменены даже постоянными, с металлическими фермами. Поезда движутся строго по расписанию и в смысле скорости и исправности перевозок Мурманка не уступает лучшим дорогам сети. На ли-

нии введены мощные паровозы, и вес товарных поездов увеличился за это время почти вдвое, грузооборот вырос по сравнению с 1923 годом в три раза и продолжает расти изо дня в день, изо дня в день снижая и почти сводя на-нет дорожные дефициты. Это уже не прежняя убогая, больная, калеченная Мурманка, похожая на дом, в который в'ехали раньше, чем там настлали полы; это уже дорога, способная соревноваться с любой дорогой страны, дорога, которая не только «извозчик», при этом, но и производитель огромных товарных ценностей, и «становой хребет края», как кто-то о ней сказал...

Она не только достроилась, следовательно, не получив ни одной копейки в виде дотации от государства, но и сама вложила еще несколько десятков миллионов рублей в хозяйство края. Если бы не она, эти деньги пришлось бы выкраивать для Мурмана из общего бюджета, если бы не она, Мурман, вероятно, и до сих пор оставался бы краем «непуганных птиц», как лирически писал о нем отличный писатель и охотник Михаил Пришвин, и все его сказочные богатства и до сих пор бессмысленно продолжали бы погибать в мерзлой земле диких северных тундр. Она достроилась и вызывает к жизни пустыню, которая впервые включается в хозяйственную систему страны! Разве это не блестящий результат, разве не проникнут этот исключительный опыт подлинным пафосом нового строительства?

«Рязано-канадский» эксперимент оказался жизненным, он удался. И ему суждено сыграть поэтому очень большую, быть может, даже решающую роль в дискуссии о способах, о методах советского железнодорожного строительства и о местах, по которым пойдут наши новые пути. Ибо этого достаточно, чтобы понять и на деле убедиться, что дорога может не только приходить на готовое, но и завоевывать и освоять необжитые пространства и выступать как организатор хозяйства в стране; ибо этого достаточно, чтобы судить о реальных возможностях и огромных перспективах той железнодорожной колонизации, которой, несомненно, предстоит занять в самом близком будущем одно из центральных мест в процессе освоения наших необжитых пространств, и пионерами которой были люди, проводившие этот первый в русских условиях опыт на Мурмане...

Хотелось бы сказать еще несколько слов о людях, напряженнейшими усилиями которых завершается сейчас этот труднейший и интереснейший опыт. И к ним я хочу еще вернуться подробнее. Но одна черта одинаково притягивает и поражает во всех них — это исключительная, самозабвенная любовь к своему делу, любовь, которой пропитан, кажется, каждый атом их существа!

Я несколько раз виделся и разговаривал с Кулабуховым, начальником дороги; этого человека, когда он начинает говорить о Мурмане и его пер-

спективах, можно слушать без конца; это увлекательно, как роман. Он весь точно начинен идеями, планами, мыслями, и географическая и экономическая карта огромнейшего края точно всегда висит, незримая, у него перед глазами, до такой степени точен в его памяти каждый ее мельчайший штрих. Леса, рыба, апатиты, слюда, кварциты, руды в озерах, белый уголь в реках — как ухитряется он запомнить такую уйму разнообразнейших цифр и показателей и не заблудиться в сложном лабиринте экономики края? Но он говорит уверенно, как человек, который вырос на этом деле и для которого все ясно тут, как на ладони, изредка только, чтобы что-нибудь проверить или уточнить, заглядывая в толстую записную книжку в кожаном переплете. Она вся испещрена какими-то пометками, кружками, чертежами, столбцами цифр; не знаю, что в ней содержится, но товарищи говорили, что это—лучшая энциклопедия и лучший справочник по Карело-Мурманскому краю. Сначала, когда Кулабухов рассказывал о лесах, о перспективах химической перегонки дерева, я подумал: вероятно, лесовод, может быть—химик. Иначе, откуда бы ему ориентироваться так точно в сложнейших и специфических процессах деревоперерабатывающей промышленности? Потом он заговорил о горных разведках, об апатитах, и я заколебался: нет, наверно, геолог Или—агроном? Ведь он говорит о фосфоритах, как поэт о любви! Потом он стал разворачивать

передо мной план электрификации дороги, которая в будущем перейдет — должна перейти — на энергию местных рек, и я сидел, разинув рот, слушал, и думал: нет, конечно, не химик и не геолог, и не агроном. Путеец! Инженер-электрик! Это же очевидно. Но он оказался ни тем, ни другим, ни третьим; он оказался простым рабочим, вчерашним монтировщиком с какого-то столичного завода.

Я встречался и разговаривал на опытной станции дороги в Лоухах с агрономами Толчинским и Поповым. Толчинский молод и выглядит так, точно вчера только со школьной скамьи; Попов седой, как лунь, и удивительно похож на народника шестидесятых годов. Послушайте, с какой неподдельной нежностью, с какой подкупающей страстностью говорят эти люди о кочане капусты и гигантских клубнях корнеплодов, которые, на удивление всей страны, они из года в год выращивают здесь, в мерзлой земле полярного круга! С какой гордостью, с каким блеском в глазах демонстрируют они перед нами свои диковинные экспонаты! Положительно, весь смысл жизни сосредоточен для них в этих кочанах и клубнях, проблемой которых решается здесь вся хозяйственная проблема края! И люди работают не покладая рук, не зная ни отдыха, ни развлечений, и находя величайшее удовлетворение в результатах своего труда, которым с благодарностью воспользуется будущее поколение; они живут в непроезжей глуши,

в такой глуши, где и бандитов-то нету, и совсем не рвутся в столицы и, кажется, счастливы и довольны своей судьбой и возможностью творить, вместо того, чтобы просиживать стулья в городских канцеляриях.

Я говорил с Рафаловичем, с редактором замечательного журнала «Карело-Мурманский край». Поверят ли столичные журналисты, что этот человек один совмещает в себе все обязанности редакционного штата толстого иллюстрированного ежемесячника? От начала и до конца, не зная ни помощников, ни литературных секретарей, ни выпускающих, он сам уже в течение нескольких лет из номера в номер делает весь журнал. И какой журнал, и какие иллюстрации! Это лучший образец того, как надо делать и как надо издавать литературу по изучению нашей страны, литературу, которой у нас почти нет, к сожалению, и которой у нас, странным образом, не уделяется до сих пор почти никакого внимания. А не зная и не изучая страны, как сможем мы овладеть ее безграничными возможностями?

Всегда, когда мне случается бывать в крупных краевых центрах на окраинах, я брожу неизменно в поисках книг, котрые хоть сколько-нибудь знакомили бы постороннего человека с историей, с хозяйством и бытом наших национальных республик — по магазинам, издательствам и редакциям. В Тифлисе, когда года два тому назад я спросил о таких книгах,—мне предложили старый

кавказский путеводитель Москвича и новый справочник по городу с алфавитным списком учреждений; в Ташкенте — потрепанный толстый том Семенова-Тянь-Шаньского, издания девяностых годов, с архаическим двуглавым орлом на обложке; в Минске — несколько отчетов районных исполкомов, с таблицами никому не нужных, ничего не значущих и противоречивых цифр; в Баку ничего не предложили, но назидательно сказали, что за углом есть справочный киоск, и там решительно обо всем можно узнать, не прибегая к фолиантам.

Нет у нас такой литературы! Страна наша насчитывает десятки малых окраин, чрезвычайно своеобразная жизнь которых попрежнему течет как-то стороной, мимо нас; их экономика, их быт, их старая и новая нарождающаяся культура почти совершенно не находят себе отражения на страницах нашей печати. Что мы знаем о таких странах, как Дагестан, Таджикистан, Башкирия, Лапландия, Сванетия, Абхазия? Что мы знаем об изменениях, которые внесла революция в жизнь этих стран и их народов? Об их колоссальных природных богатствах и возможностях? О путях их будущего хозяйственного развития? О борьбе старого с новым в их быту, в их общественном укладе и отношениях, в их традициях и представлениях? Ничего не знаем! Огромный интерес к своей стране, огромная жажда познания, охватившая нашу молодежь, остаются неудовлет-

воренными. Нет литературы! Не читать же, в самом деле, на четырнадцатом году революции Семенова, не справляться же об этом, в самом деле, в киосках на углах! Конечно, есть кое-какие книги, но они очень дороги, во-первых, и они в огромном большинстве посвящены экзотике, перепеву старых строк и скользят по верхам настоящей жизни. Конечно, появляются кое-какие статьи и очерки в журналах, но они носят совершенно случайный характер и далеко не всегда бывают правдивы и добросовестны. И это все. Постоянных, регулярных изданий, которые целиком были бы посвящены жизни окраин и всесторонне освещали бы эту многогранную жизнь, у нас нет почти совершенно!

А ведь какое исключительное открывается здесь богатство тем и материалов! Какие исключительные перспективы таят в себе наши необследованные, необхоженные просторы!

С огромным интересом перелистывал я комплект северного этого журнала, впиваясь в отдельные заметки, статьи, очерки, стихи. Хибинские апатиты и карельские руды, воздушные арктические экспедиции и будущее траллового лова и тюленьих промыслов на Мурмане, судьба карельского кустаря и оленеводство на севере, цветочные культуры и Гольфстрем, заполярное земледелие и жемчужные промыслы, белый уголь горных рек и дискуссия о северной лайке и возможностях охоты на Коле, пушнина и слюда, мраморы и алмазы в покинутых россыпях, лесные пожары и проблема музыкального инструмента в карельской деревне, лесосплав и старинные легенды, лопарские обряды и рабкоровская сеть в тундре— какое исключительное изобилие ценнейших материалов, интереснейших фактов, захватывающих жизненных повестей, о которых мы не знали и не подозревали даже ничего, сидя в глуши... столиц. Какая масса проблем ставится на очередь! В журнале, как в зеркале, отражаются и лицо и душа всего огромнейшего края; нет, кажется, ни одного вопроса, который имел бы значение для нашего севера и не нашел бы здесь отражения! Это и отличный путеводитель по Карелии и Мурману, и хозяйственный справочник, и сжатая история национальной культуры, и иллюстрированный литературный альманах одновременно! Перелистав годовой комплект этого издания, ощущаешь себя так, точно месяц путешествовал по краю, заглядывая и проникая в живую сущность каждого его уголка. Весь он вдруг точно раскрывается перед тобою во всем многообразии своих богатств; а ведь мы и не знаем почти ничего, полунищие миллионеры, об этих богатствах, которыми владеем! Удивительное издание! Оно будит исследовательскую и творческую мысль и пробуждает жажду и пафос строительства в подрастающих поколениях новых людей, открывая перед ними широчайшие горизонты наших перспектив! Оно намечает, шаг за шагом, вехи наших будущих путей

и учит, шаг за шагом, находить и откапывать жемчуг в навозе, оживляя мертвые богатства республики.

Какая еще из наших окраин может похвастать таким изданием? И редактор не брюзжит, не жалуется на усталость, не хлопочет о штате; но надо посмотреть, как он сияет зато, неся свежий, только что сверстанный, пахнущий краской номер из типографии!

Я беседовал с Эйхфельдом, участником многих северных экспедиций и знатоком края; лицо этого человека точно начинает светиться, едва заговоришь о Мурмане. Я разговаривал в порту в Кеми с Далем, с гостеприимным моряком, буквально влюбленным в свои острова, в свое дело. Я видел Фивега, горного инженера на апатитовых разработках; он прожил в Хибинах, чтобы не потерять темпа в работе, всю зиму в палатке на снегу, и, посмеиваясь говорил, что никогда не чувствовал себя таким бодрым и здоровым, как в эти дни с сорокаградусными морозами. Что ж, что морозы, зато удалось ведь наладить разведку по всей площади залежей! Я встречался и разговаривал со многими людьми, все силы, вся энергия, все существование которых целиком отданы здесь делу, которому они служат. И я думал: вот настоящие люди, вот настоящие незаметные энтузиасты нового нашего строительства!

— —

III

Медвежья Гора. — Оазис в тундре — Как же мы будем колонизировать окраины? — Столыпинские хутора или советские колхозы? — На полярной земле. — Экзотика или экономика? — Басни о картошке. — В боях с природой. — Капуста под зонтиком. — Под лучами полярного солнца. — Будущее сельского хозяйства на Мурмане.

В Медвежью Гору мы приехали под вечер, когда густые мутноватые северные сумерки окутали уже и поселок, и окрестные холмы, и перелески, маячившие на горизонте. Мы долго бродили, осматривая дома, по улицам местечка. Немощеные улицы были пустынны и отчасти напоминали вечерние улицы всякого захолустного российского местечка, но они были очень широки, и в безукоризненной прямизне их правильных линий как бы ощущался будущий крупный и по-европейски отстроенный город.

Медвежья Гора — один из крупнейших колонизационных поселков Мурманки. Лет пять тому назад здесь стояло только несколько убогих дощатых хибарок у полотна дороги, в месте, где выросла станция, вокзал; сейчас тут живет уже около двух тысяч человек, отстроено свыше двухсот

новеньких, пахнущих свежим деревом, домов, пыхтят дымком две электрические станции и большой лесопильный завод на четыре рамы, есть семилетка, кино, клубы, бани, бойня.

В диких условиях безлюдного севера уже и сейчас этот поселок выглядит как оазис в пустыне; к концу же пятилетки здесь зажгутся дуговые фонари на перекрестках, будет проведен водопровод, замощены улицы, отстроены кожевенный и кирпичный заводы, новые здания исполкома и Дома крестьянина—поселок станет настоящим городом, новым советским городом в тундре, на болотах, которые пядь за пядью завоевывает в жестокой борьбе с природой наступающий человек.

Внешне поселок производит отличное и приятное впечатление, и, бродя здесь по улицам, ощущаешь какую-то особенную радость и гордость за людей, создавших и создающих этот очаг культуры и будущей индустрии в пустыне. Но едва заглянешь за кулисы, едва поближе вглядишься в лицо переселенца—тотчас же возникает множество вопросов и сомнений, характерных, я думаю, для всей нашей колонизационной работы вообще.

Как и кем мы должны колонизовать неосвоенные земли? Должна ли эта колонизация итти кустами, «сгустками» вдоль линии железных дорог, или ее надо распространять в глубь края? Должна ли она носить промышленный характер, или ориентироваться только на хозяйственное освоение нетронутой земли? Должна ли она итти порядком

индивидуального переселения или с самого начала надо твердо здесь взять курс на коллективы, экономические преимущества которых в условиях необитаемых и неосвоенных районов особенно велики и очевидны? Тут встает целый ряд серьезнейших вопросов, несомненно требующих самой тщательной разработки; колонизационная работа только-только в сущности начинается у нас, но ей предстоит огромное будущее в перспективе и здесь очень многое надо обдумать, взвесить и решить заранее, чтобы не быть застигнутыми потом врасплох и не наделать ошибок, когда она развернется в настоящих своих масштабах.

Колонизационный опыт Мурманки в количественном отношении, бесспорно, надо признать достижением, хотя темпы этой работы в иных условиях могли бы, вероятно, быть ускорены; но качество колонизации оставляет желать много лучшего. Меньше всего тут виновата, однако, сама дорога, на которую посыпались сейчас шишки со всех сторон; с самого начала в этом деле взята была неверная принципиальная линия вообще, и с самого начала и по настоящие дни она лишена была всякого общественного контроля, всякого общественного внимания и поддержки со стороны. Исключительная важность колонизационной работы на Мурмане нигде не была оценена так, как она этого заслуживала, ее попросту не замечали все эти годы — и результаты этого не замедлили, конечно, сказаться.

Заселение Мурмана шло до самых последних пор исключительно индивидуальным порядком. Охотников ехать сюда за тысячи километров, чтобы, снявшись со старых насиженных мест, заново устраивать здесь, в условиях полярного севера, жизнь, — было немного. Переселенцам предоставлялся поэтому ряд льгот: их бесплатно перевозили сюда с семьями, им давали денежные ссуды и лес на постройку жилищ, на ряд лет их освобождали от военной службы и от всяких налогов с хозяйства, сохраняли за ними на ряд лет прежние наделы на родине. Это последнее создавало возможность своеобразного хозяйственного раздвоения; колонисты, переселяясь на Мурман, нередко оставляли на прежнем месте где-нибудь в Воронежской, Курской, Рязанской губернии фиктивного, подставного «главу семьи», в течение шести лет пользуясь, таким образом, двумя земельными наделами одновременно. Переезжая на Мурман, они получали ссуды на постройки и хозяйственное обзаведение вообще; размеры этих ссуд колебались от 500 до 1500 рублей, причем ссуда давалась тем больше, чем крепче оказывалось хозяйство переселенца. В колонизационной инструкции Наркомзема вообще прямо было указано, что предпочтение во всех смыслах следует отдавать семьям, обладающим большой рабочей силой и большим количеством хорошего инвентаря, то есть **зажиточным семьям**. Это была определенная установка на крепкое, почти **кулацкое** отрубное хозяйство. И прежде чем бросать камень в Мурманку, надо поинтересоваться и выяснить, как сложилась такая полустолыпинская тенденция у Наркомзема.

Переселенцы переезжали, обстраивались, обживались; те, кто был победнее, строили хибарки, те же, которые оказывались «покрепче», возводили настоящие, просторные дома, пуская излишние комнаты и излишние службы в наем. Некоторые поступали на службу, другие приводили или покупали лошадей и начинали заниматься извозом, третьи открывали даже торговлю и кабаки. Безлюдье и полная неустроенность, царившие в крае, чрезвычайно способствовали таким посторонним промыслам; и это оказывалось гораздо легче и выгодней, чем кропотливое хозяйственное освоение болотистых колонизационных участков. Вдобавок, в общем потоке, поскольку общественный контроль в этом деле отсутствовал, наряду с настоящими переселенцами, просачивался сюда, в поисках легкой наживы, и всякий непривычный к труду и не искавший его сброд—авантюристы, лишенцы, разорившиеся и бежавшие от скорпионов финансовой инспектуры мелкие торговцы, бывшие люди, расстриги; их было, конечно, не так много, но какой-то отпечаток, какой-то штрих на социальном лице поселков их присутствием все-таки наложен.

И в общем получалось так, что это была не промышленная и не сельскохозяйственная ко-

лонизация, но в значительной степени колонизация края мелкими служащими и деклассированным элементом. Дороге нужны были, конечно, служащие; но их процент и удельный вес в общей массе колонистов оказался чрезвычайно велик. Деклассированный элемент не вводился, конечно, намеренно извне; но условия строго индивидуального заселения. и строго индивидуального хозяйничанья неизбежно превращали рабочих, попавших сюда и работавших в общей переселенческой массе, в обывателей, в мещан, в мелких собственников, идеалом которых становился свой садик и свой огород у своего домика, со своей коровой и своей лошадью для извоза, и в бюджете, и в жизни которых завод и работа на заводе начинали играть часто только подчиненную, второстепенную роль. Конечно, это не совсем то, что хотелось бы видеть в новых советских колонизационных поселках, и хозяйство, и жизнь, и социальное лицо которых должны выглядеть совсем иначе в нашей стране; конечно, это не совсем отвечает основным задачам переселения, в первую очередь направленного к освоению хозяйственных богатств края. А здесь нередко получалось так, что заслоненная возможностью легких посторонних заработков, работа на участках, которые должны были постепенно превращаться переселенцами в культурные богатые земли, уходила на задний план и совсем забрасывалась. Люди занимались

всем, чем угодно, но только не тем, зачем их сюда приглашали и везли.

Все это невесело, конечно, и составляет крупную и неприятную, хотя и поправимую ошибку. Ошибку не только и не столько Мурманской дороги, сколько ошибку в общей установке по этому вопросу, очевидно. В середине тридцатого года здесь закончилась жестокая чистка переселенческого состава, она освободила поселки и весь край от чуждых делу настоящей пролетарской колонизации людей. Одновременно началась организация целого ряда трудовых артелей во всех областях хозяйства; это будет сильным и серьезным ударом по всей экономической и бытовой системе индивидуального переселения; к тому же намечается в огромной степени колонизовать новые отводы коллективами из переселенцев, составляемыми на местах. Это сразу и резко изменит лицо всей колонизационной работы, внеся свежую живую струю в край. Словом, все это дело впервые попало в поле серьезного общественного внимания; и это отлично, потому что здесь есть к чему присмотреться, чему поучиться и над чем задуматься, чтобы не повторять прошлых ошибок в будущем.

Но как же складывается и идет все-таки процесс освоения девственных земель на Мурмане, необходимых колонистам?

Когда шесть лет тому назад была организована по инициативе и с помощью Мурманской же-

лезной дороги первая сельскохозяйственная опытная станция за полярным кругом в Хибинах— это вызвало много скептических улыбок и крипотолков. О каком земледелии может итти здесь речь, в этом крае сплошных болот? О каких культурах можно говорить применительно к землям, на которых кроме морошки и ягеля не росло и не созревало еще ничего со времен первобытного хаоса? Какое хозяйство мыслимо вообще в условиях полярного севера, с его бесконечной ночью, с его жесточайшим климатом, с его коротким, мелькающим, как сон, летом? Что может родить эта безрадостная, почти шесть месяцев в году окутанная сумерками и лишенная солнечного тепла, земля?

Скептики пожимали плечами. Они считали и говорили и даже писали, что все эти фантазии заранее обречены на постыдный и скандальный провал. Они называли эти опыты авантюрой. Старые представления о северных землях, как о бесплодных землях, которые обречены на вечный мертвый покой, тяготели над ними; они отказывались верить, что это не так даже и тогда, когда легенда была разоблачена уже на практике и их пустой болтовне были противопоставлены горы полярного картофеля, свеклы и турнепса на опытных станциях—горы, которые можно было ощупать собственными руками. Они продолжали утверждать, что это только лабораторные опыты, которые никакого практического значения не имеют; в отдельных случаях они склонны были даже считать, что это «потемкинская» картошка, которую ловкие агрономы привозят тайком откуда-то с юга и выдают потом, без конца дурача людей, за местную. Эта дикая версия и посейчас сохранилась еще кое-где, в особенно глухих местах на Мурмане.

Я вспоминаю, например, как в Лоухах в наш вагон зашел один из работников местного агрономического пункта А. М. Попов. Он долго рассказывал об опытах, которые производятся на пункте, и поражал нас великолепными клубнями розового «эпикура» весом в полтора фунта каждый и колосьями шведского овса, достигавшими в высоту роста человека.

Когда Попов ушел, наш проводник сказал, убирая картофель:

— Ишь, старый человек, а какие дуги загибает! Как у него язык только ворочается! Какая тут может быть картошка? Тут крапиве, скажем, и той на их болотах скучно. Навезли из Ленинграда, а морочат людей, будто она тут растет...

— Ну, как же морочат! Ведь они с поля возят.

— Мало чего, что с поля. Ночью из погребов вывезут, понатыкают в грядки, а утром давай копать, будто она здешняя, будто она тут и заклубилась. Это глупость! Не может быть тут никакой картошки!

Попов долго и весело смеялся потом, конечно, когда я рассказывал ему об этом разговоре. Но

это было характерно. Всего два-три года тому назад, когда опыты только начинались, такие вещи приходилось слышать здесь на каждом шагу; и хотя эксперименты, которые проводятся на станции, дали и неизменно продолжают давать блестящие результаты, и станция делает все, что в ее силах, чтобы широко знакомить с этими результатами местное население,— пройдет еще, вероятно, немало лет, прежде чем будут похоронены старые представления о северных кольских землях, о землях, где «скучает» даже крапива.

В тяжелой обстановке общего недоверия и неверия приходилось начинать пионерам этого дела свою блестящую работу на Мурмане!

Немало толков было и вокруг цветной капусты, вокруг земляники и цветов, культура которых в первый же год была поставлена на опытной станции в Хибинах. Астры, левкой, гвоздики, львиный зев, резеда, настурция, маргаритки пышным цветом расцвели на опытных грядах. Это были первые цветы в этом крае; до сих пор их неизменно заменяла повсюду на клумбах в местных скверах мертвая мозаика из битого кирпича со щебнем, облитым известью. Это была первая заполярная земляника; до этого времени никому и в голову не приходило, что здесь можно культивировать какие-нибудь другие ягоды, кроме клюквы и морошки!

И земляника, и левкой, и цветная капуста были взяты в штыки. Скептики говорили и писали, что

это э к з о т и к а, и что дико заниматься земляникой и цветочками при нашей нищете, при нашей общей неустроенности, когда сотни основных хозяйственных вопросов еще ждут своего разрешения. Заведующий хибинским опытным пунктом и один из блестящих организаторов опытного дела на Мурмане, агроном Эйхвель, резонно отвечал им тогда, что это э к о н о м и к а, а не э к з о т и к а. Когда американцы за бесценок откупили в конце прошлого века Аляску у царского правительства России—они повезли туда под общий смех, вместе с культурами зерна, и кусты земляники и черенки ягодников и винограда. Кто мог предположить тогда, что Аляска через десять лет будет превращена в плодоноснейший, хлебородный край, пшеница которого конкурирует с метрополией? Кто мог предположить, и кто знает у нас даже сейчас, что экзотическая земляника составляет одну из доходнейших статей в этом суровом, легендарном крае, и ежегодно вывозится оттуда десятками пароходов с береговой полосы? Не «экзотом» ли был в свое время картофель, встреченный в Европе картофельными бунтами? Не «экзотом» ли был для нас подсолнечник, имеющий только значение цветка у себя на родине, а у нас превращенный в серьезнейшую техническую культуру? Или кенаф, или рис, или хлопок? Ведь можно привести сотни примеров, когда «экзотические» культуры производили подлинную экономическую революцию, проникая в

новые места! Зачем же ругать землянику, которая не есть самоцель, конечно, но только одно из слагаемых, определяющих общие возможности садовых культур в крае? Зачем ругать цветную капусту, когда этот, дающий здесь великолепные урожаи, «экзот» имеет все шансы стать основным овощным продуктом питания в крае, постоянно обреченном, если оставить его без овощей, на эпидемии цынги? Зачем ругать, наконец, цветы, доставляющие здесь столько радости людям? Эйхвельд рассказывает в одной из статей, как рабочие соседнего лесопильного завода группами стали приходить на опытный пункт, едва там зацвели первые левкои на клумбах; они просили разрешения «посидеть у цветочков»... Никому из них и в голову не приходило обрывать клумбы; они ходили вокруг с трогательной осторожностью, они сидели на скамеечках и смотрели на «цветочки», с наслаждением вдыхая их аромат и улыбаясь широкими, довольными улыбками. Это не была романтика или «экзотика»; в них говорила просто потребность, свойственная каждому человеку. Почему же людей, которые заселяют и будут заселять край, надо лишить этой бесхитростной радости? Стоит ли ломиться в открытую дверь и доказывать, как влияет на качество человеческого труда обстановка, в которой люди живут? И если мы говорили, что надо добиваться и добиться, чтобы рабочее жилье было окружено цветочными клумбами, взамен тех сорных свалок и помоек,

которые окружают его сейчас в грязных дворах,—не есть ли это тоже вопрос экономики, а не только «экзотики»?

Сейчас все эти споры и разговоры кончились уже, конечно, точно так же, как в большинстве кончились и разговоры о потемкинской картошке и о бесплодии северных земель. Только слепые и глухие могли не уверовать, в итоге нескольких лет опытных работ на местных станциях, в реальные возможности интенсивного сельского хозяйства на Мурмане. Сейчас никто не говорит уже о том, что деньги не вкладываются, но выбрасываются в болота; блестящая работа северных агрономов завоевала себе признание не только у нас, но и в Европе. За отчетами мурманских опытных станций с напряженным вниманием и интересом следит весь агрономический мир; знакомиться с практическими их достижениями приезжают сюда — не говоря уже о постоянных экскурсантах и сотрудниках наших научных учреждений—такие знатные иностранные гости, как профессор Минезотского университета Гарвей, или лондонский профессор Рагле Гейтс. Дискуссия об «экзотике» и легенда о потемкинской картошке, изредка дающая рецидивы,—это все уже пройденный этап. Но вспомнить об этом не мешает; тем блестящей кажутся результаты, которых группе работников, несомненных энтузиастов своего дела, удалось добиться в этой обстановке.

О чем же мы можем практически говорить сей-

час? Что показала, что дала, какие реальные возможности полярного земледелия открыла и установила шестилетняя работа опытных станций на Мурмане?

Кстати сказать, когда начиналась эта работа, в местах, где раскинулись теперь целые городки опытных станций, рос один непроходимый валежник. Семена для опытных посевов, семена, которые целыми горами лежат сейчас, собранные со своих полей, на складах — тогда пакетиками привозили из Ленинграда в карманах. Во всем районе Хибин было тогда всего две лошади; на них приходили смотреть со всех сторон, а навоз из-под них агрономы носили на грядки прямо руками... Как стремительно шагает жизнь!

Так вот. Почти с несомненностью можно сказать, что культура хлебных злаков на зерно на Мурмане нерациональна. Хлеба могут вызревать, правда, иногда и даже давать относительно приличные урожаи; но это все-таки только случайное вызревание, которого далеко не всегда, далеко не всякий год можно ожидать и добиться в местных условиях. Ориентироваться на чистое зерновое хозяйство здесь поэтому не приходится. Но опыты с рожью, высеваемой на сено, показали блестящие результаты. Надо иметь в виду, что проблема фуража, в местных условиях острой бескормицы, является одной из серьезнейших хозяйственных проблем. Скот приходится кормить привозным сеном, транспортировка которого безмерно удорожает его стоимость; сено держится здесь обычно в одной цене с зерном, и в нем постоянно ощущается острый недостаток. Вопрос о кормах для скота стоит поэтому тут как первоочередной хозяйственный вопрос. Рожь, которую высевают на Мурмане с осени, в конце июня дает уже полный и великолепный урожай сена, при том сена раннего, что чрезвычайно важно в местных условиях; сняв в июне рожь, поле, в порядке «уплотненного» посева тотчас же занимают под кормовые травы, и к осени получается уже второй урожай с этого же участка. Земля дает, стало быть, два полных урожая за лето! Вот вам и бесплодный север, вот вам безрадостная полярная земля! Укосы овса, кормовых трав, вики, тимофеевки, лисохвоста дают огромные урожаи, достигающие иногда ста квинталов сухого сена на гектар. Урожаи турнепса дают от 400 до 500 квинталов на гектар. И это не лабораторные, не тепличные опыты; работа мурманских станций давно вынесена уже на участки, условия которых ничуть не отличаются от обычных крестьянских участков; опыт этих станций широко начинают заимствовать уже и коренные земледельцы Мурмана, и на их полях при правильной обработке и удобрении земли, опыт дает те же блестящие результаты, что и на станционных участках. Какими же исключительными скрытыми возможностями обладают, следовательно, мертвые просторы болот в тундрах!

На первый взгляд цифры урожаев, которых добиваются агрономы на опытных мурманских полях, действительно, могут показаться даже гиперболичными. Они невольно вызывают сомнение. В центральных губерниях, например, картофель дает, в среднем, до 35 тонн с десятины, и сбор его начинается во второй половине сентября; здесь отдельные сорта дают до пятидесяти тонн и урожай целиком снимают уже в середине августа. Качество местного картофеля оказывается, вдобавок, много выше, чем в центральной полосе; местный картофель совершенно не подвергнут бактериальным и грибным заболеваниям, и специалисты этого дела, в частности крупнейший наш фитопатолог проф. Ягевский, считают даже, что здесь должны быть организованы специальные питомники, снабжающие здоровыми клубнями Ленинградскую область. Питомник за полярным кругом! Тимофеевка сплошь и рядом дает здесь на втором году в один укос столько, сколько в центральных губерниях собирают за два; клевера, которые у нас держатся по два года, тут живут по пяти и по шести лет. На первый взгляд все это кажется, повторяю, странным, сказочным, почти невероятным. И экскурсанты, и приезжие южные агрономы, которые осаждают летом эти места, эти настоящие аванпосты борьбы человека с природой, только ахают, увидев, чего добиваются мурманцы от этой безрадостной земли; они не верят на первых порах своим глазам и по выражению их лиц видно, что где-то внутри у них копошится иногда даже то же сомнение, которое вслух высказывал нам вагонный проводник. Не потемкинские ли это в самом деле поля, не сажают ли здесь в самом деле по ночам картошку, привезенную с юга?

Но что тут удивительного, в сущности, если вдуматься чуть поглубже? Почему, если в Норвегии считают и давно доказали это практически, что границей земледелия—и даже зерновых культур—является зона хвойных пород, Мурман, где хвоя идет до самого почти океана, должен составлять исключение в этом законе? Почему, если культура сахарной свеклы, например, оказывается вполне возможной практически даже в Дании и в Финляндии, она может оказаться невозможной на Мурмане? Ведь большие урожаи северных земель представляют собой совершенно законное и нормальное явление и в основном секрет их об'ясняется чрезвычайно просто. Высокие температуры ускоряют процесс созревания и тем самым снижают общую массу урожая, ибо с момента зрелости рост растений прекращается, низкие же температуры, напротив, задерживают, растягивают этот процесс, и хотя некоторые культуры не дают в этих условиях зерна и не созревают на семя, общая масса их урожая, вследствие долгого роста, оказывается очень большой. Так именно и получается с хлебом на Мурмане: зерно не вызревает, но рожь на корма дает неслыханные результаты. С другой

стороны, высокие местные урожаи об'ясняются еще и исключительными условиями полярного лета, которое длится здесь около трех месяцев в году. В летние дни солнце садится тут лишь около одиннадцати часов ночи, чтобы через час снова показаться уже на небосклоне. Солнце светит в этот период 23 часа в сутки, и все живое, что есть на земле, растет и созревает в эти дни, получая такой исключительный избыток света и тепла, с удвоенной, с утроенной быстротой, как бы наверстывая время, потерянное в период длинной, сумеречной и тоскливой зимы. Некоторые растения на опытных огородах и участках станций приходится даже защищать на это время от солнца специальными щитами, зонтиками, чтобы несколько нейтрализовать, несколько притормозить чересчур стремительный процесс роста. Вот почему оказывается возможным снимать здесь с одного поля по два урожая в год, вот чем об'ясняются эти фантастические на первый взгляд цифры! Кстати, об огородах. На огородных грядах, благополучно перенося все невзгоды суровой северной зимы, здесь отлично растут и репа, и брюква, и морковь, и редиска, и капуста всяких сортов. Качанная капуста и репа дают свыше 400 квинталов на гектар, брюква до 800 квинталов. В Хибинах, как сказано, уже несколько лет, зимуя в грунте, дает отличные урожаи крупная садовая земляника; в Лоухах, на втором опытном мурманском поле, в середине октября снимают еще ягоды малины с кустов. Малинник за полярным кругом! И поле и огород в одинаковой степени показали, следовательно, блестящие свои плодоносные возможности!

Сейчас надо считать уже вполне установленным, следовательно, что культура кормовых трав, корнеплодов, овощей и хлебных злаков на сено — практически вполне возможна почти всюду на Мурмане, вплоть до берегов Северного Ледовитого океана. Одни называют это открытием, другие говорят, что мурманские агрономы только подтвердили на практике то, что давно было известно в теории. Кто прав, выяснять неинтересно, и не стоит. Как бы там ни было — всем этим мы обязаны исключительно почти Мурманской железной дороге и работникам ее агрономической службы, самостоятельно проделавшим от начала и до конца этот огромнейший по своему значению и интереснейший эксперимент. Как бы там ни было, это открывает сейчас перед нами реальную и богатейшую возможность широкого завоевания и освоения огромных земельных северных пространств, которые впервые будут включены в систему народного хозяйства страны. Поскольку зерновые культуры в чистом виде здесь невозможны, а культуры кормовые и огородные дают такие блестящие результаты — уже сейчас ясно определяется в основном тип будущего животноводческого молочного хозяйства края, хозяйства, для которого есть все данные расцвести тут полным и пышным цветом. Мы знаем аналогичный, в известной мере,

опыт Канады, Дании, Швеции и соседней Финляндии; мы знаем, что именно эти северные страны являются основными поставщиками молочных продуктов на мировой рынок; как знать — не займет ли через несколько лет и нынешний дикий, безлюдный, бесплодный Мурман почетное место в их ряду? Его хозяйственные возможности в этом смысле несомненны и практически почти безграничны. Мы имеем здесь миллионы гектаров нетронутой девственной земли в болотах! Работа опытных мурманских станций наглядно показала, что осушка и культура их в местных условиях и при тех возможностях, которыми располагают сейчас в этом направлении наука и техника, оказывается очень недорогим, несложным и практически вполне возможным поэтому делом.

В Лоухах мы видели работу так называемых фрезеров, особых, предназначенных на обработку болот, машин. Между прочим, это первый случай широкого применения таких машин в русских условиях. Обычно осушенные болота обрабатываются у нас лошадьми; но на Мурмане нет лошадей, и, волей-неволей, перешагнув промежуточный этап культуры, пришлось обратиться к последнему слову европейской техники, едва выпустив палку первобытного человека из рук.

Болото прежде всего осушается системой параллельных и поперечных канав; система эта, в общем, примитивна, но рыть канавы приходится стоя по колени, а иногда и по пояс в воде, и это,

конечно, осложняет работу. Из-под воды, когда она стекает, выступает сплошной ковер мхов; они похожи на грубую вату, совершенно лишены каких бы то ни было питательных веществ и, вдобавок, не пропускают сквозь себя корней растений: их приходится уничтожать. Тут в дело и пускают работающие собственными двигателями фрезеры. Эти машины, снабженные особыми боронами с когтями и ножами, роют землю, как кроты, взрыхляя, расчесывая и раздирая мхи, сплющивая кочки и выбрасывая на поверхность и превращая в труху остатки погребенных в болотах деревьев. Они необычайно продуктивны, и большой фрезер обрабатывает до трех гектаров в день, заменяя собой десятки людей, лошадей и обычных конных борон Ганкхмо; кроме того, они снабжены особыми расширителями и легко проходят по болотам в таких местах, где увязают и лошади и люди. Когда фрезер достаточно взрыхлит мхи и они подсохнут, их сжигают, предавая огромнейшие участки огню; потом в землю вносят фосфорные и калийные удобрения, заделывают их, обрабатывают, и участок становится годным для посева. Весь процесс чрезвычайно уплотняется при работе на фрезерах, в смысле сроков, и болото, осушенное в июне, тем же летом может быть пущено и пускается под культуру. Стоимость всех работ по осушке, по обработке, по корчевке и удобрениям не превышает 450 рублей с гектара; этот расход полностью покрывается урожаями двух ближай-

ших лет; иногда же, при уплотненном посеве, его можно возместить и в одно лето. Стало быть, никаких особых капитальных затрат и никаких долгосрочных ссуд это дело не требует, стало быть, широкая культура болот, которые раскинулись здесь на миллионы гектаров, является при этих условиях практически совершенно доступной и, несомненно, рентабельной! Вдобавок, болотные земли, в противоположность лесным расчищенным участкам, обладают чудесным свойством из года в год, вследствие постепенного разложения торфа, улучшать свои свойства и поднимать урожайность; лесные же участки, которые дают в первые годы огромные укосы, чрезвычайно быстро истощаются затем и требуют, чтобы не превратиться в бесплодные пустыри, сложных и дорогих удобрений. Конечно, осушенные болота тоже требуют удобрений, и на первый взгляд это создает как будто непреодолимое препятствие к освоению диких мурманских просторов. Не возить же сюда суперфосфат за тысячи километров. Каким огромным накладным расходом ляжет это на каждый гектар осушенной земли, на каждую тонну полученного с нее сена! Но ввозить удобрения извне не нужно, потому что они имеются на месте: хибинские апатиты способны давать любое количество фосфорных и калийных удобрений этому краю на протяжении добрых пятисот лет! К их истории, к их хозяйственному значению, к их перспективам мы еще вернемся, во всяком случае, уже установлено, что это и по количеству и по качеству залежи мировых размеров и то, что нужно на ближайшие десятилетия землям Мурмана выглядит, как горсть песку на детской лопатке, по сравнению с тем, что они могут дать вообще. Стало быть, удобрениями край тоже обеспечен, и это будут не заграничные, не ввозные, а местные удобрения, цена которых впоследствии не будет превышать нескольких гривенников за тонну. Можно ли представить себе условия, более благоприятные для хозяйственного освоения этих необжитых просторов? И что, кроме человеческих рук, нужно теперь, когда вся предварительная работа проделана и закончена, чтобы вызвать их к живой, кипучей жизни?

Пройдут какие-то годы, и здесь, на болотах, на которых пока «скучно» даже крапиве, раскинутся великолепные участки и фермы, и на пастбищах и в тундрах, где изредка можно встретить сейчас только одинокого оленя, рогами прокладывающего себе путь в зарослях, появятся стада породистого великолепного северного скота; пройдут годы — и на вес золота будет расцениваться каждый акр этой брошенной земли; пройдут годы и он превратится в сплошную цветущую житницу, этот край, об'ятый безжизненной, вековой, непуганной тишиной. Сейчас трудно конечно решить, какие это будут годы, как быстро пойдет у нас процесс коллективизации и завоевания необ'ятных просторов севера; но пути, по которым пой-

дет это завоевание, и возможности, которые таит в себе здесь земля, очевидны уже и сегодня. С поразительной отчетливостью проступает сквозь эти грядущие годы богатейшее будущее Мурмана!

IV

В лесах. — Живые покойники. — Дрова или вискоза? — В «маюшках». — Ледяные дороги. — Как погибают богатства. — Наши темпы. — Два слова о завтрашнем дне. — На лесосплаве. — По реке Шуе. — Хождение по водам. — На бревнах через пороги. — Залом. — «Бабья игра» на озерах. — В последней гавани. — Неизбежность или косность? — Ленинградский порт.

Необ'ятные леса Карелии раскинулись на площади в одиннадцать миллионов гектаров.

Перестойные деревья живут здесь нередко сотни лет, сохраняясь и переходя из эпохи в эпоху чуть ли не со времен Ивана Грозного; дерево, которому сто лет, на иных участках выглядит здесь в окружении дряхлых великанов, как молодой и свежий побег. В старые времена в местных лесах господствовала бессистемная и хищническая рубка «на прииск», когда хозяева вырубали только лучшие, ценнейшие деревья, совершенно не заботясь о судьбе леса в целом и предоставляя худшим перестаиваться и гнить на корню. В результате, Карелия получила в наследство от тех времен перезрелые леса с целыми кварталами отживших свой век и паразитирующих живых «покойников»;

и карелам, у которых дерево составляет основное богатство страны, приходится вести сейчас сложную и трудную работу по омоложению лесов. Живые покойники и старики постепенно вырубаются с расчетом, чтобы лет через двадцать лес совершенно был очищен от них; на смену им стремительно подрастает молодняк, правильная эксплоатация которого втрое ускорит общий оборот леса в крае. В довоенное время леса Карелии, насчитывающие одиннадцать миллионов гектаров, давали не свыше четырех миллионов фест-метров древесины в год. В прошлом году Карелия, удвоив эту цифру, дала уже девять миллионов фест-метров, в будущем она даст тринадцать миллионов. Еще через год эта цифра дойдет до пятнадцати миллионов и, очевидно, стабилизуется.

Девять миллионов фест-метров карельской древесины дали в прошлом году около ста миллионов рублей валовой выручки; примерно половину этой суммы мы получили в валюте, экспортируя высокосортный, мелкослойный, не загнивающий карельский лес за границу. Маленькая Карелия дала республике в прошлом году свыше двадцати процентов всего вывозимого на внешние рынки леса. Однако это только ничтожная часть того, что она сможет давать в будущем, когда ее лесное хозяйство целиком будет переведено на рельсы индустриализации. Сейчас мы берем из леса и выпускаем на внутренний рынок и экспортируем за границу исключительно сырье — пиловочник,

доски, шпалы, столбы, дрова; очень скоро взамен этого или попутно с этим мы двинем на рынки готовые промышленные изделия и продукты химической переработки дерева. Стоимость леса возрастает и возрастет при этом в сказочной пропорции. Один кубический метр древесины в виде дров ценится в среднем в полтора рубля; этот же метр бревнами стоит уже два с полтиной, досками — 5 рублей, целлюлозой — 15, бумагой — 35, вискозой — 750 и вискозным шелком — 1500 рублей, то есть в тысячу раз дороже, чем дрова, примитивный, самый элементарный продукт лесного хозяйства. Трудно даже представить себе, как возрастут доходы наших северных лесов, когда в них задымятся трубы первых перерабатывающих фабрик, и как изменит это всю экономику, весь облик края!

Поистине безграничны практические возможности рационализации хозяйства в наших лесах, поистине головокружительны перспективы, которые здесь открываются. Опыт Карелии прекрасно доказывает это уже и сейчас. Ведь только-только повеяло первым дыханием культуры в ее девственных чащах, только-только появились там, сменяя отжившие прадедовские традиции и методы работы, первые орудия современной техники — и Карелия, отнюдь не потребляя лесов, а только поднимая хозяйство на европейскую высоту, уже в будущем году втрое увеличит их продукцию, по сравнению с тем, что они давали в старое вре-

мя. А ведь работа только начинается еще, ведь возможности, которые здесь таятся, не исчерпаны еще, вероятно, и в одной десятой части!

Люди на разработках в северных лесах совсем недавно жили еще просто... у костров. Партия лесорубов приезжала в лес, валила большое сухое, «мертвое» дерево, ствол его кололи в длину на две половины; одну половину укладывали на вытоптанном снегу, и это был «пол» будущего жилья, другую укрепляли на особых распорках сверху, и это получался «потолок» бивуака. Люди жили, попросту говоря, в снежных ямах, устланных сосновыми ветками. На «полу» разводился костер, там всегда тлели, выжигая древесину, угли; согретые их теплом, стенки ямы леденели, подтаивая, покрывались корой, отлично отражавшей лучи огня. В самой яме бывало поэтому настолько тепло, что лесорубы спали в ней на хвойной коре, как дома на полатях. Они даже раздевались на ночь, хотя спали в сущности на открытом воздухе; они ложились очень близко к огню, так близко, что иногда обжигали тела — и лежать бывало очень тепло, даже жарко. Но стоило только встать и разогнуться, высунувшись из ямы наружу, как жесточайший сорокаградусный северный мороз охватывал и пронизывал мгновенно все разгоряченное тело. Нужно было обладать чудовищным здоровьем и каким-то особым иммунитетом, который вырабатывается, очевидно, и передается из поколения в поколение, чтобы избежать в этих условиях жестоких простуд, ревматизма и постоянных легочных воспалений и болезней. Никаких почти статистических данных в этой области, впрочем, не сохранилось, и вообще их не было, вероятно; самые зимовки в лесу проходили относительно благополучно — а что случалось с раз'езжавшимися по всей стране лесорубами потом, и как отзывались на них эти месяцы жизни в снегу— это никого не интересовало. Если хворали и умирали одни, на смену им всегда находились и приходили тысячи других. Частный лесозаготовитель не видел надобности хоть сколько-нибудь заботиться о сносном житье и сносных условиях жизни для с'езжающихся на работы сезонников и вкладывать в это дело средства. В лучшем случае в лесу разбивались, взамен ям с кострами, особые походные избушки на курьих ножках, метко прозванные здесь «маюшками». «Маюшку» разбивали из свежего леса за один день; это была крохотная и низенькая хатенка, в которую надо было не входить, а влезать, согнувшись в три погибели, как в собачью конуру. В ней не было ни окон, ни печей, ни печных труб; трубу заменяло отверстие, прорубаемое прямо в крыше, над очагом. В «маюшках» царили теснота и дикая грязь; в конце концов они были не лучше, а в некоторых отношениях даже хуже ям с кострами. Какой же работы, какой продуктивности, какого отношения к делу и к хозяевам дела можно ожидать от поставленных в такие условия жизни и труда людей?

Также прямо на снегу жили и лошади; им тоже кидали подстилку из веток и загораживали со стороны ветра переносным плетнем.

За годы революции снежные бивуаки с кострами и «маюшки» почти совершенно выведены в карельских лесах, встречаются они иногда лишь в виде исключений, в виде редких памятников уходящей старины. Они почти сплошь заменены настоящими жилыми бараками, с окнами, с печами, с каким-то минимумом жизненных удобств. Конечно, эти бараки не могут претендовать на комфорт, конечно, условия жизни в них много хуже тех обычных условий, в какие поставлен рабочий в городе. Но и это ведь целый переворот в лесной русской практике и в лесном быту — что людей вытащили из первобытных снежных ям и «маюшек», похожих на собачьи конуры, в настоящее, хоть и примитивное, человеческое жилье! Переворот, который в наших условиях, несомненно, смогла сделать только революция, только советское государство, с его системой планового хозяйства и с его заботой о людях труда. Как много усилий понадобилось приложить к этому делу, каких оно потребовало средств, легко представить себе, приняв во внимание, что в этом году, например, в карельских лесах работало около 90 тысяч местных и приехавших из центральных губерний лесорубов и около 40 тысяч лошадей. Почти все они были обеспечены настоящим жильем; а ведь сто тысяч людей—это население крупного губернского города! И ведь до революции здесь не было ни одного жилого дома в лесу, и эта стотысячная армия целиком размещалась, зажигая свои костры, фантастическим бивуаком прямо меж деревьев на утоптанном снегу!

В будущем году леса Карелии, как уже сказано, дадут втрое больше того, что они давали в старое время. В значительной степени карелы обязаны этим поливным и ледяным дорогам, тракторам, впервые проникшим в эти глухие места, и финским саням. Успех лесозаготовок в значительной степени зависит от пропускной возможности дорог, по которым вывозится срубленный лес к биржам, и от качества транспортных средств. Обычная российская зимняя дорога чрезвычайно тяжела для лошадей и неудобна, обычные российские сани поднимают ничтожное количество леса и с ними почти невозможно маневрировать на поворотах. В эти годы в карельских лесах впервые стали прокладывать поливные и ледяные дороги. Устройство их настолько же полезно, насколько поразителен их деловой эффект. В лесу прорубается трасса (просека), на ней корчуются пни, потом уминается и трамбуется снег и ровную поверхность несколько раз поливают водой из особых бочек, в которые эта вода подается насосами из родников. Постепенно дорога покрывается толстой коркой льда, по которому с поразительной легкостью скользят сани любой тяжести, тем более, что дорога, извиваясь петлями, имеет некоторый

уклон в ту сторону, куда вывозят срубленные деревья; груз идет, таким образом, всегда под гору; лошадей же, чтобы они не падали на льду, подковывают особыми шипами. Поливная дорога еще проще: на ней превращают в лед только колеи, по которым идут полозья саней. Но даже и ее пропускная способность в д в о е п р е в ы ш а е т пропускную способность обычного зимнего, снежного российского «путимчика». Трудно даже представить себе, какое огромное количество времени, сил и средств экономит это несложное новшество при том огромном размахе лесных заготовок, который устанавливается сейчас в Карелии! И Карелия имеет сейчас уже около тысячи километров поливных и ледяных дорог в своих лесах; это далеко не все еще, конечно, и поливкой охвачено сейчас пока еще меньше половины всей дорожной сети — но как у ж е изменило это, вместе с финскими санями и тракторами, лицо и возможности заготовок! Финские сани имеют широкие и длинные полозья и, вследствие особой системы прицепки, чрезвычайно легко идут на поворотах; их грузопод'емность в т р о е превышает грузопод'емность обычных русских саней. Замена здесь происходит почти сплошная; на русских санях работают уже теперь только отдельные партии лесорубов, в обозах же Кареллеса они выведены почти окончательно. Слишком очевидны преимущества финского типа: лесоруб вывозит на них за сезон втрое больше, чем на русских! Наконец,

трактор. Понятно, каково его значение, если каждая машина заменяет в среднем 50 лошадей и на 80 процентов сокращает потребность в людях. Несомненно, он несет за собой революцию в лесное хозяйство! В этом году в Карелии работало в лесу 45 тракторов. Число их приходится увеличивать очень осторожно и с оглядкой, хотя именно в Карелии, которая живет приезжей рабочей силой, им суждено сыграть, как будто, особенно значительную роль. Но, во-первых, тракторы приходят в большинстве без запасных частей, которые прибывают с опозданием на несколько месяцев, когда заготовки в лесу уже кончаются; в случаях порчи или поломки приходится поэтому «раздевать» один трактор, чтобы его частями «одеть» другой, и это дезорганизует работу парка. Во-вторых, лесные рабочие крайне недружелюбно принимают машину, вытесняющую их труд и труд их «животин»; тут приходится исподволь преодолевать и это глухое сопротивление, и традиции, и предрассудки. Наконец, тракторами выгодно работать при перевозках леса на большие расстояния; дорожные же участки в Карелии, сплошь изрезанной реками, в среднем не превышают 20 километров, и далеко не везде целесообразно поэтому ставить тракторы на перевозки. Но все же число их растет из года в год, и из года в год все глубже и глубже проникает, знаменуя новую эпоху, стук их моторов в глубь девственных северных лесов. Т р а к т о р с обозом ф и н с к и х

саней на ледяной дороге — как далеко мы ушли уже все-таки от вчерашнего дня, как подняли уже мы все-таки культуру нашего хозяйства, темпы работы и доходы от лесов!

И все же это совсем не то еще, что могут дать и дадут нам эти леса в близком будущем; и все же, в огромной своей части, их возможности и богатства, которые в них таятся, остаются у нас неосвоенными и неиспользованными.

Дерево рубится в лесу, оно очищается от ветвей, от вершинки, от коры. Вывозится только самый ствол и только толстые сучья идут на дрова; все остальное бросается и обречено гнить в отбросах, на месте. В этих отбросах бессмысленно погибает около трети вырубаемого леса. Потом стволы везут на заводы, пилят их на доски. Здесь в рейках, в горбылях, в стружках и в опилках погибает опять-таки от 40 до 50 процентов вывезенного дерева. Таким образом, в лучшем случае мы используем лишь половину того, что вырубаем в лесах; другая половина составляет «отходы», и из года в год предается варварскому уничтожению. Сучья, вершинки и кора, содранная с деревьев, сплошным покровом устилают места рубок в лесах, превращаясь в зло, с которым серьезно приходится бороться. Опилки, стружки и обрезки образуют, накопляясь из года в год, целые горы на заводах,—горы, с которыми положительно не знают, что делать хозяйственники. Они совершенно загромождают территории заводов. Их жгут в топках, заваливают ими ямы, трамбуют ими дамбы, бесплатно раздают их, в качестве топлива, населению. Но их не становится меньше от этого, и каждый день работы несет все новые и новые кучи этой дряни. Приходится строить даже, как это сделано, например, на Кандалакшском заводе в Карелии, специальные печи, чтобы уничтожать отбросы, иначе они превратили бы завод в сплошную свалку, погребли бы его под собой.

Между тем, сейчас совершенно очевидно, какую огромную потенциальную ценность представляет собой этот «мусор», от которого не знают как избавиться в лесу и на заводах. Еловая кора, например, которую тысячами тонн бросают сейчас, засоряя леса, на местах рубки, содержит в себе ценнейшие дубильные вещества. Мы в огромных количествах ввозим их сейчас из-за границы, оплачивая каждый грамм валютой, а под ногами у нас валяются и гниют собственные дубители, за которыми остается только протянуть, нагнувшись, руку! Точно так же из года в год мы ввозим канифоль для мыловаренного и бумажного производства, канифоль, скрытые запасы которой в сосновых лесах Карелии практически неиссякаемы. Из древесных отбросов можно получать отличные смолы, выход которых в местных условиях определяется, по примерным подсчетам высокой цифрой в 20 кило с кубического

метра древесины. Можно получать скипидар, в котором, как это ни странно при наших лесных богатствах, ощущается сейчас такой острый дефицит на рынке, древесный и уксусный спирт и уголь отличного качества, широко идущий в металлургии для выплавки высокосортных чугунов. Промышленное значение и ценность этого угля чрезвычайно значительны; в Швеции и в Норвегии давно уже практикуется его производство в очень несложных и недорогих, между прочим, печах Грендаля и Аминова. Немецкими и финскими химиками разработан сейчас довольно остроумный и неожиданный способ получения сахара из... древесных опилок, посредством кислотной обработки клетчатки. Если этот сахар и не заменяет настоящий, то он, несомненно, широко может быть пущен для откорма скота; в частности, это открывает возможность откорма свиней древесными отбросами, и очень скоро, быть может, рядом с лесопильными заводами, начнут расти повсюду фабрики бекона! В Америке основаны уже первые заводы мезопира, искусственных досок из опилок и мелких отходов леса; опилки и размельченные обрезки прессуются под большим давлением, выходя из машин в виде листов однородной, чрезвычайно крепкой массы, которая пилится затем на доски и на брусья. Дело это, конечно, носит пока только экспериментальный характер; но самая мысль представляется чрезвычайно удачной и интересной, и почти нет сомнений, что она найдет в самом близком будущем практическое разрешение и широкое применение. Рейки, горбыли и обрезки, сотнями тысяч погибающие сейчас на заводскиу свалках, отлично можно было бы пускать на ручки для метел и швабр и на штукатурную щепу; это даже не потребовало бы особых затрат на сложное оборудование.

Короче говоря, современная техника позволяет поставить дело таким образом, что в лесном хозяйстве у нас не будет пропадать даром ни одна щепка на заготовках, ни один грамм опилок на заводе. Теперешние массовые отбросы, теперешний грязный мусор, который не знают куда девать и как от него избавиться, целиком, без остатка будет превращаться в ценнейшие продукты химической переработки дерева. Это не мусор, это — богатство, которое мы, как расточители, изо дня в день сотнями тысяч тонн пускаем в трубу. Трудно говорить сейчас, во сколько раз поднимет рационализация доходность наших лесов, на какую огромную высоту будет поднят этим наш экспорт в частности; во всяком случае, очевидно, что мы стоим накануне полного переворота в лесном хозяйстве и очень скоро выйдем из лесов на свой и на европейский рынки с первыми промышленными изделиями, взамен того сырья, которое сейчас вывозим.

Это время не за горами. Карелия, в частности,

уже стала практически на этот путь широкой индустриализации своего лесного хозяйства. В дополнение к двадцати ее работающим с полной нагрузкой лесопильным заводам прибавятся к концу пятилетки еще шесть; некоторые из них уже начаты постройкой и в ближайшее время вступают в строй. На Киваче отстроена и работает уже первая в этом крае бумажная Кондопожская фабрика, дающая около 80 тонн газетной бумаги в сутки. В этом и в будущем году в Заонежьи, в Кондопоге, в Кеми и на Княжьей Губе закладывается уже ряд комбинатов по переработке дерева. Здесь широко будет поставлено, прежде всего, производство целлюлозы, которую мы почти целиком ввозим сейчас из-за границы. Характерно, что там она приготовляется сплошь и рядом из нашего сырья; мы за гроши продаем в Европу дровяной баланс, чтобы сотнями долларов оплачивать потом каждую тонну этого же самого баланса, в виде промышленной продукции возвращающегося к нам обратно. Очень скоро этому будет положен конец. В карельских лесных комбинатах будет поставлено, кроме того, производство бумаги, картона, дубильных веществ, винного спирта и огромного, миллиардного, количества бумажных мешков; по всем расчетам они должны оказаться очень дешевы и практичны и в известных отраслях значительно вытеснят, вероятно, дорогие джутовые. Параллельно, в Петрозаводске запроектирован завод фанеры и лыж и в Сороке — крупная

столярная фабрика для производства стандартных экспортных изделий. Экспорт этих изделий, в частности, деталей строительства, в которых ощущает большую нужду и Европа и, особенно, Америка, оказывается гораздо выгодней экспорта пиловочного сырья. Шведы, например, давно уже стали на этот путь. В их экспортном ассортименте строганые товары, готовые двери и оконные рамы все больше и больше вытесняют необработанную доску.

В ближайшие два года все лесное хозяйство Карелии будет переведено, таким образом, на новые, индустриальные рельсы. На обломках старых методов, старых традиций, старой экономики вырастает новая эпоха, контуры которой ясно ощущаются во всем уже и сейчас в лесу. Огромнейшая, сложнейшая, но какая благодарная работа! Перспективы, которые открываются в связи с этим, способны вскружить любую голову: так необъятны здесь возможности, так колоссальны здесь резервы, так неисчислимы здесь богатства, которые мы топтали до сих пор ногами!

В Карелии мне впервые довелось увидеть во всех деталях интереснейший и сложный процесс лесного сплава по рекам и озерам.

Ранним ясным июньским утром мы отчалили, помнится, на моторке от пристани в Петрозаводске. Онежское озеро было еще спокойно в эти часы, и угрюмые, черные скалы восточного берега, как в зеркале, отражались в его застывшей воде. Яс-

но виден был «чортов стул», вытесанный, как кресло, причудливый пик на вершине, усеянной соснами; воздух был до того чист и прозрачен, что виднелись даже островки, разбросанные по озеру за шестьдесят километров от города. Мы с наслаждением дышали полной грудью; на «чортовом стуле» цвела черемуха и дикие анютины глазки изумительной синевы; прямые ароматы шли оттуда, стлались над озером и с непривычки немножко кружили голову.

Мы пересекли петрозаводскую губу, на полном ходу проскочили узенький Соломенский пролив и Логм-озеро и, покружив с полчаса по извилинам Светицы, в'ехали в реку Шую. Это — центральная водная «колея», центральная сплавная артерия края. Спущенный на воду лес миллионами стволов стекается в Шую, и через нее в Онежское озеро, к столице Карелии, чтобы закончить здесь на биржах и лесопилках свой многомесячный страдный путь. Лес идет в Шую и с Ирсты, и с Чавны, и с Вилги, и со Святухи, и с Кутижмы, и с Юменишки — идет по десяткам притоков и рукавов, нередко берущих начало где-нибудь у финских границ, за двести и за триста километров отсюда. Река поражает поэтому изобилием всяческих предохранительных, контрольных, пропускных берегов. Деревушки облепили ее так густо, что околицы их сходятся почти повсюду, образуя сплошную цепь поселков. Лесу на воде еще не было, но всюду, подготовляя что-то, готовясь к приемке, суетились

на пригорках, на мостках и в лодках десятки людей с баграми, с топорами, с охапками прутьев в руках.

На руль к нам сел лоцман, мы миновали Сагарву, проехали, с трудом преодолевая стремительное течение, группу опасных шуйских, покрытых белой, кипящей пеной порогов, поднялись выше и через час пристали у живописного островка, у перемычки большой Верховской запани. Это — центральное место сплава, это — исходный пункт, откуда лучше всего было начать осмотр, чтобы полностью представить себе процесс речного сплава.

Стволы срубленного и очищенного от веток леса зимой на санях подвозят с делянок по ледяным и поливным дорогам к берегам бесчисленных карельских стремительных, горных рек. Его складывают в штабеля почти над самой водой, по краям береговых обрывов. Едва вскрывшиеся реки очищаются ото льда, от штабелей, к воде прокладываются особые мостки, так называемые «стелюги». Сотни людей целыми отрядами собираются в эти дни со всего района к центральным местам заготовок; они «срывают» лес, бревно за бревном, штабель за штабелем, спуская его по стелюгам в воду. Тысячи, десятки тысяч бревен с утра до глубокой ночи с грохотом, который гулким эхом отдается в лесу на много километров вокруг, катятся повсюду по мосткам и падают в полые реки, густо, как стаи живых существ, как моль или саранча, усеивая их поверхность Сплошной сплав так и на-

зывается «молью», молевым сплавом. Быстрое весеннее течение легко, как детские прутики, подхватывают полуторатонные стволы и, завертев, закружив их в водоворотах крутых прибоев и порогов, один за другим несет вниз. Лес сорван, лес тронулся, лес пошел!

Тотчас же по берегам, на некотором расстоянии один от другого расставляются пикеты часовых. В силу целого ряда законов механики, лес не может долго итти серединой реки; очень быстро его начинает прибивать на поворотах и в местах, где особенно сильно течение, к берегам. Вооруженные баграми сторожа из пикетов отгоняют, отталкивают тяжелые, грузные, набухающие водой стволы от круч, тщательно следя, чтобы на их участках не получилось «заломов». Залом — это чрезвычайно неприятная, сложная и опасная вещь. Представьте себе, что одно из бревен, скользя вниз по реке, наткнулось на подводные камни или корни, или просто случайно уперлось в берег и резко остановило, перегородив путь, свой размеренный ход. На него тотчас же натыкается, останавливаясь, в свою очередь, второе, за ним третье, пятое, десятое. В какой-нибудь час вырастает уже целая гора в тысячу таких бревен; она растет стремительно с каждой лишней минутой и вниз, под воду, и вверх, образуя целый хаос леса и совершенно перегораживая в конце концов реку. Если во-время не ликвидировать залом — в течение суток он нередко подымается вверх на высоту трехэтажного дома, а подводная его часть достигает самого дна реки. Сплав внезапно останавливается, сразу ставя под угрозу весь план операции. Лес все подходит и подходит сверху, но залом, вырастая во все стороны буквально на глазах, не пропускает уже вниз ни одного бревна. Образуется гигантский затор, гигантское бесформенное и причудливое ажурное сооружение; оно колышется, как карточный домик, под напором запертой воды и порывами ветерка, оно дрожит, стонет и скрипит, но стоит все же чрезвычайно прочно, держась все на том первом бревне, которое зацепилось обо что-то на берегу реки. Маленький залом свободно может ликвидировать обыкновенным багром любой опытный надсмотрщик из пикета; но если время упущено, и залом вырос, осел и отстоялся — приходится уже срочно вызывать с ближайшего пункта специальный «вспомогательный» отряд.

Разбирать залом сверху по частям и очень долго и практически почти невозможно; в диком этом хаосе, в десятке тысяч нагроможденных гигантской кучей бревен нужно найти и раскачать, сдвинуть, столкнуть то первое, на котором держится вся постройка; тогда она рухнет сразу, как щепки разметав стволы по сторонам. Это очень сложная, трудная и главное смертельно опасная операция. Сплавщик, старший из бригады, с шестом взбирается по бревнам, которые колеблются, смещаются и ускользают из-под ног, на вершину,

или на «террасу» залома. Он осматривается, ощупывает залом и глазами, и руками, и ступнями ног, и всем своим существом: где оно то первое бревно, на котором зиждется вся эта многометровая гора леса? Как отыскать его в тысячах других? Ему помогает не столько опыт, не столько острота взгляда, не столько изумительная ловкость тренированного тела, сколько инстинкт, из поколения в поколение выработанный на протяжении десятков лет. Он находит это основное бревно каким-то особым чутьем, он точно слышит, потянув воздух, какой-то его особый запах, ощущает его каким-то особым шестым чувством. Но найти его еще мало, это только половина того, что надо сделать. Как только оно будет сдвинуто с места, весь залом, вся огромная масса леса рухнет почти мгновенно, рассыпаясь во все стороны со страшным грохотом, который бывает слышен на десятки километров вокруг. Всего несколько секунд отделяют это мгновенье от того, другого мгновенья, когда бывает сдвинуто застрявшее бревно, и сплавщик, отыскав и столкнув бревно, должен успеть выскочить в эти несколько секунд из залома на берег. Один миг промедления, один неловкий или неосторожный шаг — и падающая масса увлекает его за собой и мгновенно превращает его, стиснутое бревнами, тело в бесформенный комок мяса и костей. Ведь сила напора в заломах бывает такова, что когда оттуда выскакивают, будучи выдавлены другими, отдельные

бревна, например — эти огромные полуторатонные бревна, отлетают, как тяжелые снаряды, со свистом разрезая воздух, на десятки метров вдаль. Эта опасная, смертельная работа требует людей с железными нервами, с огромной волей, выдержкой и опытом. Нам случилось видеть, как разбирали такой залом на Киваче, на главном, достигающем нескольких сажен в высоту, пороге этого замечательнейшего из водопадов Карелии. Работать там обычными способами было бы, правда, просто безумно — так очевидна была смертельная опасность для людей, которые рискнули бы залезть на залом, причудливо повисший на самом краю обрыва, с которого гигантским потоком, грохоча и кипя пеной, с грохотом катился водопад. Поэтому здесь перекинули с берега на берег металлический канат и пустили по нем особую люльку, в которой поместился старший сплавщик с шестом. Он должен был действовать сверху, с воздуха, вместо того, чтобы шевелить залом, как обычно, снизу. Риск был уменьшен, но отнюдь не уничтожен, конечно: примитивная люлька, скользя по канату болталась и раскачивалась по ветру, как скорлупка, и казалось непонятным даже, как может усидеть в ней человек; кроме того, ее могло сорвать и протаранить и, конечно, в одну секунду превратить в щепки любое из бревен, взлетающих, когда рушится залом, кверху. Признаться, защемило под сердцем, когда мы глядели на сплавщика; а

он только громко хохотал и мотал головой от удовольствия, раскачиваясь в люльке над пропастью и находя, видимо, чрезвычайно забавным и веселым свое положение. Была ли это привычка, любовь и страсть к риску, так часто встречающиеся на севере у людей, просто ли крепкие, здоровые нервы — не знаю. Думаю только, что никакой цирковой акробат не полез бы в эту скорлупку, чтобы болтаться в ней над грохочущим водопадом, ни за какие гонорары на свете. Сплавщик доехал в люльке до залома, перегнулся через борт вниз и долго — бесконечно долго — вглядывался в бесформенную гигантскую кучу нагроможденого на пороге леса; потом он нацелился и опустил багор. Протянулись какие-то секунды, и вся огромная постройка, заскрипев мучительно и зашатавшись, стремительно, почти сразу и целиком, рухнула вдруг со страшным шумом вниз; бревна летели во все стороны, ударяясь и, как пробки, отскакивая от камней; они вздымались в вышину и, как тараны, падали вниз, легко отбивая и увлекая за собой, как песчинки, куски и тяжелые глыбы скал; они ныряли в пенящийся, мутный поток и чрез мгновенье выскакивали несколькими метрами ниже, почти чистые от коры — так било их порожистое дно. Все это продолжалось минуту, может быть, две. Мы оглянулись: на месте, где только что высилась огромная постройка в несколько десятков метров высотой, не было уже ничего; только сор и последние щепки крутились

в бешеных водоворотах мутной, раз'яреной воды... Люльку со сплавщиком подтянули к берегу; весь мокрый от брызг, он сидел в ней, развалившись комфортабельно, как в уютном домашнем кресле у камина, и закуривая на ходу. Мы спросили у него об ощущениях. Вопрос, конечно, был дурацкий. Сплавщик улыбнулся, подмигнув лукаво и сверкнув великолепными белыми зубами, и сказал, что за полбутылку он готов, пожалуй, для нашего удовольствия, проехаться на тот берег и вторично, став на этот раз в люльке вверх ногами...

...Лес срывают, лес трогается и идет вниз по рекам и притокам. Чтобы он не сворачивал с основного пути и не блуждал в бесчисленных рукавах водной системы, рукава повсюду загораживаются особыми ширмами, связанными из толстых и прочных бревен. У мостов сооружаются особые остроконечные стрелы; они разбивают проходящую массу леса, равномерными потоками пропуская ее сквозь пролеты и предупреждая заторы. Весь путь сплавного леса точно рассчитан от первого до последнего километра; река, по которой идет сплав, это, в сущности, то же полотно железной дороги, с раз'ездами, с обходными путями, со строгим графиком движения, со службами, с сигналами, с системой пропускных жезлов и с целой сетью связанных между собой и регулирующих ход леса узловых станций. На реке они называются запанями. В запани устраивается чрезвычайно прочная передвижная ширма из бревен, скреплен-

ных железными цепями; в момент, когда почему-нибудь нужно остановить на время движение леса, ею перегораживают реку, прочно закрепляя к ней концы на берегу особыми снастями. Чаще всего это приходится делать тогда, когда внизу, в контрольных воротах, на озере и на биржах не успевают принимать прибывающий лес. Запани связаны между собой телефоном. Когда внизу образуется затор, нижняя станция точно так же, как и на железной дороге, дает условный сигнал остановки, отказываясь принимать плывущие «маршруты», и точно так же, как на железной дороге, сигнал передается тотчас же по всей линии, и в запанях тотчас же опускают семафоры, закрывают, выводя ширмы, ворота и преграждают пловучему грузу путь на всем протяжении реки.

В Верховской запани, когда мы приехали туда, как раз получен был снизу сигнал о пропуске, там отпирали, отведя ширму вбок, ворота. Стиснутый со всех сторон лес лавиной хлынул сразу в образовавшийся узкий проход, бесформенными кучами нагромождаясь по краям ворот. Сплавщики, лениво сидевшие на берегу, вставали поспешно, гася о подошвы мокрых сапог недокуренные папиросы. Подошли горячие минуты, нужно было регулировать хлынувший в ворота поток, чтобы в проходе не получилось затора, залома. Они спустились с крутого берега и двинулись, работая шестами, на середину реки. Издали казалось, что, воскрешая евангельские чудеса, они шагают прямо

по воде. С непостижимой, акробатической ловкостью перепрыгивали они с одного плывущего бревна на другое, балансируя и регулируя баграми ход леса; мокрые, гладкие бревна ускользали из-под их ног, ныряли под их тяжестью, на мгновенье совершенно скрываясь под водой, кружились и переворачивались. Казалось, вот-вот они сорвутся, поскользнувшись, уйдут под воду, и сплошная масса движущегося леса тотчас же накроет их сверху и оглушит сотней одновременных ударов; но, не теряя ни секунды, с поразительной быстротой они прыгали с ныряющего ствола на соседний, инстинктивно минуя опасные места и моменты. Они точно цеплялись ногами за дерево, точно врастали на мгновенье в тот вершок пловучей твердыни, куда опускалась на секунду их ступня. Посредине глубокой и стремительной реки они скользили по мокрым, кружащимся, убегающим стволам так же легко и непринужденно, как скользят искусные танцоры по натертому паркету зал. И страшно и замечательно было на них смотреть. Спутники наши, посменваясь, рассказывали, что очень часто, исключительно ради забавы, сплавщики спускаются этим же манером, стоя на бревне, через самые опасные и коварные шуйские пороги у деревеньки Сагарвы. Выпрямившись во весь рост, заломив шапки, небрежно попыхивая папиросками, зажатыми в зубах, с быстротой поезда они проносятся на бревнах мимо деревни, мимо берегов, усеянных толпами рукоплещущих зевак.

Бешеное течение на порогах подхватывает и несет бревна, кружит и бросает их из стороны в сторону, как тростинки; вросши в ствол, сплавщик стоит на несущемся бревне неподвижно, как монумент, изредка небрежным жестом стряхивая пепел с папироски и сплевывая сквозь зубы в воду. Иногда же, если через пороги спускается целая группа, сплавщики, лавируя меж пенящихся бурунов и соревнуясь в молодечестве, пытаются еще вдобавок в самых трудных и опасных местах сбивать, толкаясь, друг друга с бревен; но до сих пор, хотя такие забавы практикуются из года в год, это еще никому не удалось ни разу. Однажды с этой опасной и азартной игрой на Шуе попробовали было бороться, организовав соответствующим образом общественное мнение деревни, и в ячейке и в исполкоме приняты были клеймящие резолюции протеста. Но когда настал традиционный день и на порогах показались первые стволы с возвращающимися сплавщиками — деревня все же высыпала им навстречу. Секретарь ячейки и председатель исполкома сначала долго бродили по берегу, стыдя и урезонивая толпу и с очевидной завистью и одобрением поглядывая в то же время украдкой на проносящихся на бревнах товарищей. Потом они исчезли вдруг, а через полчаса... сами неслись уже на двух стволах мимо села, обгоняя друг друга, стоя каждый на одной ноге и выписывая другою сложные фигурные вензеля. Деревня встретила их бурными аплодисментами...

... Лес идет, лес спускается в устье реки, где в особых, преграждающих его путь воротах, начинается сортировка и отборка стволов. Ворота разбиты на ряд пролетов, в каждый из которых направляется только один, определенный сорт леса. Пролеты переходят за воротами в отделенные друг от друга ширмами и стрелами искусственные рукава, где лес размещается, перед тем, как его свяжут в плоты, по сортам. Ворота представляют собой, таким образом, узловую сортировочную станцию.

На высоком, перекинутом через реку, помосте шеренгой, внимательно глядя вниз, стоят люди с баграми. Сплошная масса прибывающего разносортного, разнокалиберного, разновидного леса неумолимо быстро движется на них, вот-вот грозя, кажется, снести и ширмы, и стрелы, и самые ворота с их шатким, временным помостом. Движутся «молью» сплошной лавиной мелкие, двухметровые сосновые п р о б с ы для шахтных подпорок и еловые б а л а н с ы для бумажных и целлюлозных производств. Плывет п а л у б н и к, огромнейшие, двадцатиметровые стволы которого отмечены черными крестами. Этот особо ценный лес, специально предназначенный для корабельного строительства, вырубается на приск, отдельными деревьями, которые иногда по неделям приходится искать и выбирать в лесах; стволы его должны быть прямолинейны, совершенно лишены сучков, и все время до сдачи на верфь палубник, затопив его искусственно, держат в воде, чтобы он не дал

трещин на воздухе и на солнце. Это страшно дорогой лес, и одно бревно его обходится в несколько десятков рублей. Медленно и грузно подходят кокоры, тяжелые стволы с сохраненными, загнутыми корнями; из них делаются остовы судов, и корни, которые, чтобы не портить их, специально сковывают при рубке, представляют собой естественный, прочнейший в мире шпангоут будущих шхун и катеров. То ныряя, то вновь появляясь на поверхности, подползают перестойные мертвецы и топляки, то есть лес, чрезмерно пропитавшийся в пути водой, и отяжелевший, но неуспевший еще затонуть; идут, сбиваясь в кучи, нагромождаясь друг на друга и образуя целые пловучие штабеля, рубленые, мелкие дрова, тянутся бесконечной чередой сосновые и еловые бревна для лесопилок. Как разобраться в этом сплошном потоке, в этом хаосе, от которого через минуту начинает рябить в глазах, в этом пестром разнобое качеств, размеров и сортов? Ошибаться нельзя, ошибаться воспрещается! Когда кокора попадает в рукав, в котором сосредоточены пробсы, или пробсы забиваются в рукав, по которому идут кокоры, это вызывает ужасающую путаницу и огромную массу лишних перевозок, хлопот и денежных затрат. Ошибаться невозможно! Сложная эта работа требует непрерывного и напряженного внимания и большого опыта. Люди на помосте, перегнувшись вниз, буквально впиваются острыми глазами в подходящий к воротам

лес. Палубник? Направо! Балансы? Налево! Дрова? Шестой пролет середина! Они непрерывно и изумительно ловко работают баграми, ни на минуту не останавливая потока и на ходу сортируя, перемещая и отводя породы и сорта в отведенные для них проходы. Они почти не знают ошибок; они уже за много метров, метнув быстрый взгляд, определяют мгновенно не только породу и сорт подплывающего бревна, но и все его качества и дефекты; они никогда не спутают первого сорта со вторым, хотя разница определяется всего пятью сантиметрами в толщине, и никогда не примут бракованного бревна за хорошее, как бы ни был ничтожен и незаметен брак. Они работают с точностью выверенных механизмов, почти не зная ни заминок, ни перебоев; выверяется же это искусство на протяжении десятков лет, конечно, тоже переходя от отцов и дедов к детям, из поколения в поколение. В старое время, когда по реке одновременно сплавляли лес десятки частных, конкурирующих промышленников, в воротах, помимо сортировки по качеству, надо было еще сортировать весь сплав и по фирмам, по хозяевам; каждый из них клеймил свои стволы особыми отличительными клеймами, и каждый держал на воротах специального надсмотрщика, который обязан был следить, чтобы лес его фирмы не попадал случайно и неслучайно в загоны других хозяев. Клейма часто смывались водой и стирались в бешеной толчее сплава, но сплавщики в воротах

и в этом случае не допускали ошибок, совершенно точно определяя на глаз и на любом расстоянии, кому именно принадлежит лес по целому ряду таких деталей рубки и окорения, в которых обычный глаз не разобрался бы, вероятно, даже вооружившись лупой...

И вот лес прошел сортировку в устье, он разбит по рукавам и готов перейти в озеро, где его примут на биржи, на заводы и на под'ездные железнодорожные пути. Но, конечно, итти по озеру тем же рассыпным сплавом он не может — ветер и волны разгонят его во все стороны и за сутки вконец искалечат стволы, прибивая их к скалистым, отвесным берегам. Лес вяжут в устье в особые пловучие плоты, в кошели, которые пароходиками или лодками буксируются затем к последней пристани на его длиннейшем пути. На буксирной лодке стоит особый прибор, барабан, который по-карельски называется «аккопель»; в переводе это значит — «бабья игра». Лодка отходит от кошели, примерно, метров на сто и бросает тяжелый мертвый якорь; затем канат, на котором буксируется кошель, медленно, метр за метром, черепашьим шагом подтягивается к лодке. Когда его подтянут, лодка снимается, отходит опять на сто метров, опять отдает якорь, и вся операция начинается сызнова, покуда лес в кошеле не будет, наконец, введен в последний загон, в последнюю бухту на своем пути и не отшвартуется у берегов биржи и завода.

Когда стволы, сорванные последними, сорванные еще в апреле у истоков самых дальних рек достигают после пяти месяцев пути, в сентябре или в октябре, устья центральной сплавной артерии — в верховьях снаряжается последняя партия сплавщиков. С баграми в руках они проходят по берегам все течение реки, весь путь, пройденный сплавом, «зачищая хвост», подбирая остатки, отгоняя прибившиеся к берегам отдельные, отставшие бревна. Они «зачищают хвост», спускаются, ведя последние партии вниз, достигают узловой станции в устье — и сплав считается законченным.

Мы просмотрели, колеся на моторке по изгибам, по рукавам и притокам Шуи, весь сложный сплавный процесс и обменялись затем кое-какими мыслями и впечатлениями.

Людей посторонних и впервые знакомившихся практически с этим делом, нас чрезвычайно поразила допотопная техника и ужасающая медлительность сплавных операций, совершенно исключающая возможность тех стремительных темпов, которых требует строительство страны. Конечно, основной процесс, то есть самое движение леса, проходящего в сутки, в среднем, не больше десяти километров, ускорить очень трудно, почти невозможно, поскольку это зависит от течения рек. Но вспомогательные, побочные процессы поддаются рационализации чрезвычайно легко, а именно в них-то и скрыты главным образом причины, тормозящие сплав и нередко создающие такое положе-

ние, при котором неубранный во-время лес остается зимовать в реках, во льду. Самый длинный сплавный маршрут в Карелии, например, насчитывает всего 250—300 километров; если считать, что лес плывет по десяти километров в сутки, этот путь должен быть пройден, следовательно, в тридцать дней. Фактически, однако же, лес идет не тридцать, а пятьдесят дней, и далеко не всегда успевает попасть на биржи до заморозков. Как же это получается?

Вредят делу, прежде всего, частые заторы и заломы, которые каждый раз на несколько дней останавливают сплав и переворачивают вверх ногами весь график движения. Совершенно ясно, что эта помеха легко может быть устранена, если правильно и широко будет организована сеть пикетов, служба которых носит пока иррегулярный, почти случайный характер. Лишних расходов бояться здесь не приходится: сокращая сроки сплава, создавая нужные темпы и предупреждая путаницу в графике, — пикеты, конечно, окупят себя с лихвой. И организация этого дела чрезвычайно примитивна, работа надсмотрщика почти не требует ни опыта, ни специальных знаний, ни особой квалификации. Так что об'ективная возможность наладить правильно береговую службу несомненна, как несомненна и необходимость сделать, наконец, этот шаг.

Огромного времени требует набивка и траспортировка плотов, кошелей через озера, в целом ряде мест пересекающие на севере сплавные магистрали. Как сказано, плоты буксируются здесь вручную, лодками, на которых установлены аккопели, — насчитывающая доброе столетие «бабья игра». Максимальная, рекордная скорость, которой удается достичь на буксирах, применяя этот «экспрессный» способ,—полтора километра в час Конечно, это карикатурно; аккопель на фоне современной техники выглядит, как орудие пещерного дикаря рядом с каким-нибудь комбайном или электрическим турбиной. Действительно ли мы так бедны и так отсталы, что не в состоянии ввести элементы первичной хотя бы механизации в «бабью игру»? Я думаю, что нет. Сейчас в Карелии на смену аккопелям начинают вводить так называемые варповальные лодки, на которых барабан, наматывающий канат и подтягивающий плот, приводится в действие мотором. Это—специально оборудованные лодки финского типа; они чрезвычайно дороги, насчитываются пока на севере единицами и почти не влияют поэтому еще на общий ход сплава. Если ориентироваться только на них, пройдет, очевидно, еще немало лет, прежде чем они действительно вытеснят из обихода средневековую «бабью игру». Но дело в том, что ручные барабаны чрезвычайно легко можно было бы приспособить под моторы и на нынешних буксирных лодках, благо подходящие керосиновые двигатели вырабатываются на месте, в самом Петрозаводске. Мне пришлось говорить об этом с

целым рядом специалистов; все единодушно признают, что это вполне возможное и практически очень недорогое и несложное дело. А скорость буксировки при моторной тяге увеличивается по крайней мере в три раза: сколько же дорогих дней может быть выиграно при этом условии, на сколько сократит это сразу сплавные сроки?

Но самое главное не в этом. Самое главное состоит в том, что биржи не успевают принимать подходящий сверху лес, и ход сплава очень часто приходится искусственно задерживать, закрывая запани на реке. Подумать только: один плот, вмещающий каких-нибудь полторы тысячи кубометров леса, разгружается на северной бирже два дня! А при самой простейшей механизации на эту работу потребуется максимум... два часа. Конечно, вопрос идет здесь уже о сложных механизмах и оборудовании—транспортеры, краны, двигатели, конвейеры. Но все это стоит все-таки гроши, если учесть огромные обороты в нашем лесном деле; полная механизация центральной петрозаводской биржи, например, должна обойтись по самой широкой смете в 400 тысяч рублей, а валовая выручка лесного хозяйства Карелии за год определяется цифрой в сто миллионов рублей! Вдобавок, это только кратковременная и выгодная ссуда, а не капитальный расход; при любой калькуляции выходит, что все расходы на механизацию с лихвой окупятся в первый же сезон сплава. Еще бы! Процесс выгрузки укорачивается при этом в шесть, в

семь раз и удешевляется вчетверо и вместо 800 человек, работающих сейчас на бирже, понадобится всего 80 для работ в три смены, на протяжении всех 24 часов! Есть над чем задуматься! Тем более, что все оборудование целиком может быть изготовлено на наших заводах и к импорту прибегать отнюдь не придется.

И здесь, словом, как и на самой реке, как и во всей обстановке сплава, никаких «объективных причин», которыми обусловлены были бы ужасающие, анахроничные темпы сплавных работ — не нашлось. Да, конечно, все это не так просто—поставить краны и транспортеры на биржах, заменить моторами ручные барабаны буксиров, организовать правильную службу на речных берегах. Но кто скажет, однако, что это невозможно? Я разговаривал с десятками людей, от руководителей краевого хозяйства до десятников в запанях включительно, и ни от кого не слышал таких заявлений. Напротив, все охотно соглашались и даже удивлялись, как будто, сами, почему все это до сих пор не сделано. Но разговорами, конечно, биржи не оборудуешь, моторов ими не заменить. И когда в газетах мы читаем каждую осень в тревожных сводках, что лес, бесценный лес, рискует остаться у нас зимовать во льдах в целом ряде мест, настолько недостаточным оказывается повсеместно темп работ — я спрашиваю себя, что это? Просчеты в планах? Чрезмерный размах заготовок? Результат общей нашей нищеты? Неизбеж-

ность? Нет — косность, неподвижность, инерция, проклятая привычка к прадедовским методам, которым давно уготовлено место на свалке!

...Лес из Карелии идет на внешние рынки через Мурманский, Кемский и Ленинградский порты.

Недавно закончились работы по углублению канала, соединяющего Ленинградский порт с морем. Этот канал тянется на 30 километров. Глубина его раньше не превышала 28 футов, и это несколько затрудняло для крупных океанских судов доступ к северной столице советской страны. Сейчас канал углублен до 32 футов, и Ленинградский порт поднят этим до нормального уровня портов мирового значения. Водное шоссе отремонтировано, семафоры подняты, дорога открыта! Порт все больше и больше увеличивает с каждым днем свой грузооборот, все расширяет и расширяет свои пропускные возможности.

Шутка ли сказать—общая цифра портового ввоза и вывоза удваивалась у нас из года в год даже при старых темпах, покуда пятилетка по-настоящему не вступила еще в свои права. А сейчас пойдут, вдобавок, хлебные грузы, почти отсутствовавшие последние два года; широким потоком двинутся грузы второстепенного экспорта, от тряпья и костей до конского волоса включительно; удвоятся или утроятся грузы леса, на широкую заготовку которого впервые организованно привлечены сейчас в девственные чащи севера десятки тысяч людей; неизмеримо

возрастет, в связи с организацией сети совхозов и колхозов, вывоз скоропортящихся продуктов и в той же связи и еще более стремительным темпом будет расти ввоз машин и оборудования. Выдержит ли Ленинградский порт этот бешеный напор? Справится ли он с погрузками? Безграничны ли возможности расширения его пропускной способности? Он огромен по территории, но он вошел в наше хозяйство почти неустроенным, с недостаточной сетью подъездных путей, с крохотным складским хозяйством, и почти лишенный механического оборудования. Уже в советское время были установлены первые двадцать грузовых кранов на его территории. Но что значат эти двадцать кранов при грузообороте, исчисляемом десятками миллионов тонн? В Гамбургском порту работает не двадцать, а свыше тысячи таких кранов, и все-таки оборудование оказывается недостаточным и его расширяют изо дня в день! В 1925 году порт принял всего около двух тысяч вагонов груза к вывозу, сейчас он принимает двенадцать тысяч, и эта цифра все увеличивается и обрастает все новыми и новыми нулями с каждым лишним днем. В старое время портовые холодильники рассчитаны были на хранение 900 тонн скоропортящихся грузов, и их вместимость не увеличивалась по 1924 год включительно, а сейчас она возросла уже во много раз. Число портовых рабочих составляло в начале 1930 года 15 тысяч человек, в 1931, несмотря на механи-

зацию погрузочных работ, это число возрастет вдвое. Ощущаете ли этот головокружительный темп, чувствуете ли, как стремительно ползет кверху кривая роста?

Обо всем этом мы говорили с начальником порта Матвеевым, присев в его кабинете под огромнейшим чучелом белого медведя, изумительную и совершенно целую шкуру которого привезла ему в качестве гостинца из Арктики триумфальная команда Красина. Медведь стоит, как живой, и угрожающе скалит клыки; сидишь, разговариваешь и нет-нет, да и обернешься невольно и покосишься— не шевелится ли за спиной это полярное чудовище... Мы разговаривали, выясняя, не случится ли так, что порты, в частности, Ленинградский, окажутся узким местом в растущем стремительно хозяйстве страны? Надо сказать, что тут есть много опасений. Работы по переоборудованию порта идут недостаточно интенсивно, заметно отставая в темпе от общих работ по реконструкции хозяйства в стране.

В первые годы организации хозяйства мы кое-как обходились еще собственными судами, и фрахт иностранных пароходов был очень незначителен, но уже в 1929 году на фрахт судов для одних только экспортных перевозок нам пришлось затратить около 150 миллионов золотых рублей, и вопрос о создании собственного тоннажа встает сейчас с необычайной остротой. Самые грубые подсчеты с несомненностью показывают, что

гораздо выгоднее тратить валюту, покупая и заказывая суда, нежели фрахтовать их; между тем серьезное внимание этой проблеме все еще не уделяется. Хлебные грузы, в связи с коренной реконструкцией сельского хозяйства, должны будут стремительно расти из года в год, и к концу пятилетки достигнут рекордных цифр; между тем, порт в состоянии пропустить сейчас всего 300 000 миллионов пудов зерна в год, а проекты новых элеваторов и зернохранилищ, о которых заблаговременно надо подумать, бесконечно странствуют где-то в инстанциях. Все это в перспективе грозит порту многими неприятными осложнениями. Попытки серьезно поставить вопрос о необходимости расширения портового хозяйства далеко не всегда кончаются успешно. Так, например, когда в недавнем прошлом встал вопрос о достройке холодильников, это, как ни странно, встретило тогда не поддержку, но противодействие в Наркомторге, в лице отдельных его работников, и только благодаря тому, что начальник порта Матвеев, не считаясь с запрещениями, «самовольно» взял достройку на свою ответственность, на свой страх и риск — удалось довести вместимость холодильников до потребных размеров и с честью выйти из экспортной кампании 1929 и 1930 годов. А что бы получилось, если бы он не «рискнул»?

Такое отношение к портам вообще и к Ленинградскому порту в частности, такой темп в работе

по его реконструкции надо решительно переломить. Иначе мы рискуем, что этот крупнейший порт окажется дырой в нашем хозяйственном кафтане, что он окажется не в состоянии выполнить ту роль, которую ему предстоит играть в ближайшие годы...

Мы обошли до верху забитые грузами холодильники с их интереснейшей системой особых изолированных камер; в каждой из них сответственно продукту, для которого она назначена, системой сложного оборудования поддерживается различная, определенная температура и влажность. Мясо и рыба требуют, например, минус семь градусов, масло — минус четыре, яйцо—ноль, фрукты — плюс два, и так далее. У машины, нагнетающей холодный воздух во все огромнейшее здание, во все 32 огромнейших камеры, работает всего два или три человека. Система камер схематически обозначена в аппаратной на небольшой доске, которая всегда перед глазами у дежурного механика, — и каждая камера имеет свой номер и свою контрольную кнопку. Достаточно нажать эту кнопку, чтобы специальный прибор тотчас показал температуру, которая в данный момент держится в камере; достаточно чуть-чуть повернуть рукоятку крана, чтобы эта температура поднялась или опустилась тотчас же, в зависимости от того, чего добивается механик, перед которым висит на второй дощечке список хранимых в камерах продуктов. Камера шесть? Икра! Нормальная температура — минус два! Прибор показывает минус один и семь десятых. Еле уловимое движенье, — и уже стрелка поползла вниз, и икре уже создана «атмосфера», которой она жаждет. Изумительное для постороннего, несведущего человека совершенство и точность механизма! Холодильное дело относительно новое у нас дело и нуждается еще в изучении, опытах и экспериментах. Гордость холодильного хозяйства в Ленинградском порту составляет новенькая, недавно созданная лаборатория, где начато сейчас систематическое наблюдение, систематическая проверка и анализы процессов хранения. И до холодильников добрались неугомонные хозяева «этой» страны?

На портовом катере мы едем вдоль причалов по каналу. У причалов, отгружаясь и нагружаясь, выбрасывая из трюмов огромнейшие ящики с тракторами и забивая эти бездонные, опорожненные трюмы грузами из холодильников, стоят, под десятками всяческих флагов, иностранные суда. Ленинградский порт пропускает в навигационный сезон от 40 до 50 пароходов в неделю. Сюда плывут шведы, везя турбины и оборудование для новых наших электрических станций и забирая фрукты; идут американцы, груженые «фордами» и «фордзонами», — в обратный рейс обменивая их на икру; отшвартовываются англичане, выгружая станки и поглощая ящики с беконом. Как это характерно для нашего времени, для нашей хо-

зяйственной системы, как определяет это жизненные перспективы, будущее нашей страны! Мы ввозим машину, сменяя ее на гастрономию. Временно мы отказываем себе в излишествах, чтобы создать собственную индустрию. Чорт возьми, без икры можно как-нибудь прожить эти несколько лет, но без машины нас удушили бы голыми руками к концу первой же пятилетки!

Вдоль причалов, мимо холодильников, мимо специального павильона для туристов, которых порт принимает ежегодно до 15 тысяч человек, мимо старой, всегда до краев забивающейся раньше ввозным топливом и хронически пустующей теперь угольной гавани, мимо ремонтного завода, где чинятся потрепанные штормами иностранцы со звездами и полосками на трубах, мы едем к лесной бирже, к самому ответственному пункту сложного портового хозяйства. По весу лес составляет около восьмидесяти процентов всех экспортных грузов, уходящих морем из Ленинграда. В год через Ленинградский порт вывозится леса на сумму свыше ста миллионов рублей. Экспортный лесной ассортимент насчитывает около полутора тысяч сортов пиленых материалов. Представляете себе, какую необ'ятную площадь должны занимать склады и штабеля этого леса, насколько сложен и трудн должен быть здесь организационный график работ, с какой точностью должны быть рассчитаны погрузочные процессы, чтобы не создавать заторов и ни на минуту не задерживать у причалов зафрахтованные пароходы? Ведь мы оплачиваем валютой, золотом каждый лишний час простоя! Ведь каждая копейка, переплаченная на погрузке, на укладке, на транспортировке доски или кругляка, влечет за собой, в итоге, помноженная на миллионы, стотысячные убытки при таких огромнейших, необ'ятных размерах дела!

Нужно сказать, что работы по лесным операциям рационализированы в Ленинградском порту почти полностью. В старое время и подвоз и погрузка леса производились неорганизованным, кустарным порядком; методы были примитивны, работы шли почти исключительно вручную. Лес подвозился поездами или по речной системе в порт, и грузчики, так называемые «носоки», на плечах отгружали его, складывая в штабеля, на баржу. Это была особая порода людей, передававших свою профессию, свои традиции и своеобразные особенности своего физического склада из поколения в поколение; лесного «носока» всегда можно было отличить в толпе других грузчиков, по плечам, из которых одно бывало обязательного ниже другого, по походке, по манере держать голову склоненной на бок и близко ставить одна к другой на ходу широкие ступни ног. Десятилетиями накопляя навыки, «носоки» достигали большого искусства в своем деле; отгружая лес, со стокилограммовыми длиннейшими досками на плече они балансировали на узеньких

и скользких помостах с ловкостью, которой мог бы позавидовать любой циркач; они на глаз, мгновенно и точно умели определить и размеры, и качество, и породу, и стоимость доски не хуже любого специалиста-приемщика; складывая лес в штабеля, они работали с непостижимой быстротой и в то же время сбрасывали груз настолько ловко и осторожно, что ни одна трещинка, ни одна царапина не портила дорогой и хрупкой доски. Настоящие, старые опытные «носоки» были художниками своего ремесла; теперь эта порода людей вымирает постепенно и самая профессия их понемножку уходит в прошлое.

«Носоки» выгружали лес и складывали его на бирже как попало, совершенно хаотично, ибо они работали на десятки различных хозяев и никакой системы быть здесь не могло. Породы, сорта, размеры — все смешивалось в кучу, и потом, когда наступали дни вывоза, приходилось, чтобы нагрузить один пароход, перерывать в поисках нужного ассортимента десятки и сотни штабелей. Подобрав ассортимент, лес опять грузили вручную с биржи на плошкоуты, на особые плоскодонные суда, и на буксирах тянули его к пароходам, которые были лишены возможности подходить по мелководному каналу к самой бирже, и ожидали лес на взморье. Тройные перегрузки требовали огромных накладных расходов, отнимали массу времени и сводили к минимуму пропускную способность биржи, всегда перегруженной материалами.

Сейчас канал углублен, и пароходы могут непосредственно подходить к эстокаде лесных складов; это дает огромную экономию во времени и в расходах по погрузке. Вся территория биржи покрыта сетью под'ездных узкоколейных путей и изрезана своеобразными улицами с «небоскребами» из стандартных досок и лесного кругляка вместо жилых домов. Лес разгружается с барж особыми мощными механическими кранами, из которых каждый поднимает за раз полторы тонны груза. Приняв доски с баржи, кран, описав дугу в воздухе, осторожно опускает их на электрическую тележку, которая по «улицам» подается к берегу и отвозит затем лес в назначенное место. Лес распределяется и складывается на территории склада в том строгом порядке, в каком его будут потом грузить на пароходы. Прежней хаотичности уже нет места и не нужно больше рыться в сотне штабелей, чтобы подобрать ассортимент для парохода. Чтобы определить пункт, откуда придется брать в каждом отдельном случае груз для прибывшего лесовоза, достаточно просто взглянуть на график в конторе. Заказы и сроки и места погрузок строго учтены; единый монопольный экспортер работает по плану, которого никогда не могли, конечно, выработать занимавшие раньше эту территорию десятки бешено конкурировавших между собой крупных и мелких фирм. Лес складывается в штабеля особыми штабельными, чрезвычайно остроумными с технической сторо-

ны машинами, каждая из которых укладывает до 60 тонн в смену. В резервные склады и к причалам лес подают особые лесовозные автомобили, которые захватывают щупальцами и подминают под себя сотни досок за раз; контролируется, сортируется и бракуется он на особых станках — и на обрезке испорченных концов досок работает семьдесят электрических пил. На пароходы он грузится, наконец, лебедками. Таким образом, весь сложнейший погрузочно-разгрузочный процесс механизирован почти целиком, и на смену умирающему «носоку», освобождая от тягчайшего труда тысячи людей, постепенно приходит машина; за человеком остаются постепенно почти исключительно функции организатора, руководителя и контролера, который проверяет и координирует работу автоматов.

Механическое оборудование для лесной биржи обошлось, конечно, недешево и работы по ее реконструкции потребовали огромного творческого и материального напряжения. Зато эффект их поразителен. Порт сберегает сейчас благодаря этой реконструкции пятьдесят процентов времени и рабочей силы на погрузках и разгрузках; пропускная его способность поднята в несколько раз; каждый стандарт леса дает 7 рублей экономии, и этим сохраняется до 900.000 рублей в год.

Ни одна европейская страна, и даже Америка с ее рекордными числами и достижениями, не может похвастать такой полной комбинированной механизацией портовых работ; ни одно капиталистическое хозяйство не создало еще и не в состоянии вообще создать такой точной системы в экспортной работе, ибо и природа этой системы, и все ее возможности, и ее блестящий успех целиком зиждутся на едином плане, на монополии внешней торговли, которой обладает только одна страна в мире.

V

На апатитах. — «Шарообразная молния». — Завоеватели Хибин. — Как был поставлен заяеочный столб. — Что такое апатит. — Золото в горе Расвумчорр. — 8 миллионов тонн добавочного зерна в год. — Мы прощаемся с господином Сальвэ. — Освобожденные миллионы. — Энтузиасты Хибин. — Дуня объясняет.

За Петрозаводском, Кемью и Кандалакшей, на тысяча двести шестьдесят четвертом километре Мурманской дороги приютился в глуши, близ озера Имандра, раз'езд Белый. Сейчас он переименован в Апатитовый раз'езд. Отсюда идет шоссейная дорога и новая, только недавно законченная укладкой ветка к горе Расвумчорр, к одной из вершин величественного Хибинского массива.

Хибины и по строению, и по обилию залегающих в них пород, и по разнообразию и красоте встречающихся там минералов представляют собой совершенно исключительную горную область. Только абсолютным бездорожьем и совершенной дикостью местных условий можно объяснить тот факт, что с таким запозданием оказалось обращено на них внимание исследователей и ученых. Мурманская железная дорога, первая дорога в этом полярном крае, была проложена лишь

во время империалистической войны, до того времени редкие сообщения поддерживались здесь или водой, или на оленях и на лошадях. Путь от Петрозаводска до Хибин должен был тянуться неделями, и на этом пустынном пути почти не встречалось жилья; это делало, конечно, практически невозможным хоть сколько-нибудь систематическое изучение края. Единственным, кажется, исследователем, пробравшимся в те времена в Хибины, был финляндский геолог Рамзай; в 1890 году он в нескольких направлениях пересек Хибины и впервые дал их геологическое описание. Описание это было блестящим, но практического значения путешествие Рамзая почти не имело тогда. Тайны, которые хранили в себе Хибины, остались, в сущности, неразгаданными. Величественные их массивы, изрезанные причудливыми линиями глубоких ущелий и руслами стремительных бурных рек, их подножные, застывшие, прекрасные озера с синей, прозрачной водой долго сохраняли еще свой вековой покой. Зачарованная, изумительная царившая здесь тишина еще не была тогда нарушена. Прошло около тридцати лет, прежде чем невидимая тропинка, проложенная Рамзаем в Хибинские горы, превратилась в ту широкую дорогу, по которой взад и вперед бегают сейчас, оглашая тундру звуками сирен и ровным гулом моторов, новые «Форды» с грузом породы и партиями вооруженных кирками горняков.

Систематическое обследование Хибин началось

под общим руководством академика Ферсмана только с 1920 года Ферсмана за глаза называют здесь «шарообразной молнией». Энергия и настойчивость этого неутомимого завоевателя пустынь, действительно, изумительны. Он атаковал Хибины со всей страстностью искателя новых путей, на которую был способен. Если честь самого открытия апатита в основном принадлежит геологу Лабунцову, который первый поставил заявочные столбы на Расвумчорре и Мурманской дороге, которая, при общем равнодушии инстанций, и в единственном числе несла на себе вначале все расходы и все хлопоты по организации разведок в горах, то тем, что вопрос о Хибинах был поставлен у нас во всей его широте, во всем его огромном значении, мы, несомненно, обязаны Ферсману. Когда разведки в горах закончились и стало ясно, что мы имеем здесь дело с фосфоритными залежами мирового значения и масштаба—наступили дни, решавшие промышленную судьбу Хибин. Реальные возможности их эксплоатации были еще неясны тогда и во многих вызывали сомнения. В этот период о Ферсмане говорили в шутку, что это не человек, а целый комитет действия и пропаганды на двух ногах. Он удвоил, утроил свою энергию. Он неутомимо колесил, нагрузившись докладами, между Москвой и Ленинградом, он кочевал, стучась во все двери, которые могли перед ним открыться, с заседания на заседание, с собрания на собрание и помещал, популяризируя идею

Хибин, статью за статьей в журналах и газетах. Одних, способных увлекаться, он заражал своей страстностью, других, холодных и рассчетливых практиков, он побеждал деловыми аргументами, третьих, наконец, сонно клевавших попросту носом над исходящими бумагами в инстанциях, он без церемоний расталкивал локтями. Он добился того, что хибинская проблема была поставлена как важнейшая промышленная проблема во весь ее рост; он сумел преодолеть неизбежную в таких случаях инерцию и вызвать то настоящее, серьезное внимание к этому делу, которого оно требовало и заслуживало. Он продвигался вперед с упорством, которое не может не вызывать восхищения и успокоился только тогда, когда осажденная хибинская твердыня пала к ногам победителей и на Расвумчорре застучали первые кирки горняков.

«Молния» угасла, чтобы через несколько месяцев вновь вспыхнуть—уже в песках пустыни Кара-Кум...

Было бы несправедливо, конечно, забыть и десятки других имен. Руками профессора Борисова, геолога Куплетского, агронома Эйхвельда, инженеров Самойловича и Фивега—первых разведчиков и первых практических организаторов разработок в горах—тоже вписано немало блестящих страниц в современную историю Хибин. Было бы несправедливо забыть и о десятках, о сотнях безымянных участников этой эпопеи, героическими

коллективными усилиями которых завоевывался здесь каждый шаг, на новом промышленном пути в тундру. Маленькая армия, которая шла на штурм Расвумчорра, как всякая армия, имела и прославленных полководцев, руководивших боями в горах, с талантом, с любовью и темпераментом людей, для которых сосредоточен был, казалось, весь смысл жизни в этой захватывающей борьбе, и безвестных солдат, выполнявших свой долг, проходивших здесь свой тяжкий путь с тем простым и суровым мужеством, перед которым почтительно снимет когда-нибудь шляпу будущий историк Хибин. Я думаю, и одним и другим мы в одинаковой степени обязаны тем, что у нас есть апатит...

Горные разведки в Хибинах, особенно зимние разведки, протекали в обстановке исключительных трудностей. Единственным перевозочным средством с тундре, где не было ни дорог, ни тропинок, служили тогда «райды»—караваны оленьих упряжек. Но, во-первых, далеко не всегда удавалось найти и оленей, потому что лопари только периодами кочуют со своими стадами в этих местах, во-вторых, даже олени, исключительную выносливость и исключительные качества которых в местных условиях может оценить по-настоящему только очень долго живший на севере человек — нередко отказывались итти, прокладывая новые дороги, по этой девственной целине, где каждый клочок земли усеян был валунами и забар-

рикадирован стволами деревьев. Сплошь и рядом приходилось пробираться сквозь такую чащу кустарника, где и топором не так-то легко было прорубить себе тропу; олени вставали тогда на дыбы, затем опускались стремительно, ломая кусты, и тяжестью своих тел и рогами прокладывали путь. Сплошь и рядом сани попадали, пересекая замерзшие озера, в незаметные полыньи; только каким-то чудом олени выбивались оттуда, скользя копытами по краям гибельной дыры, калеча друг друга рогами и изнемогая от усилий. Они бывали измучены и обессилены уже к половине пути, их приходилось щадить и беречь их силы. Люди часто шли поэтому за санями пешком, по пояс увязая в снежных сугробах и в кровь царапая лица и руки в густых зарослях. Иногда, когда путь выдавался особенно тяжелый, когда олени бывали особенно измучены, они тащили за собой и сани. На привалах разведчики ночевали в палатках, устилая еловыми ветками вытоптанный снег; в палатках, как там ни топили, бывало настолько холодно, что хлеб, который хранили в изголовьях, замерзал к утру, превращаясь в глыбки странного, черного льда. Много продовольствия брать с собой было невозможно, питаться сплошь и рядом приходилось поэтому впроголодь. Добираясь через несколько дней труднейшего пути к подножью Расвумчорра, все чувствовали себя обычно так, точно без остановки проделали стокилометровый форсированный переход. А от

раз'езда Белого до места нынешних разработок апатита было ведь всего около 20 километров пути!

Самый под'ем на Расвумчорр, достигающий тысячи метров в высоту, был необычайно труден и полон опасностей. Приходилось взбираться по отвесным, почти обледенелым стенам, подтягиваясь на руках, цепляясь коченеющими пальцами за каждый выступ, упираясь ногой в каждую встречную щель и держась за рукоять вбиваемой в дернину кирки. Это были под'емы, на которые рискнул бы далеко не каждый альпинист, далеко не каждый циркач и признанный рекордсмен; но люди, с риском для жизни пролагавшие дорогу к богатству, которым мы завладели сейчас, не были ни циркачами, ни рекордсменами. Может быть, они никогда не читали даже гимнастики Мюллера. Они брали эти под'емы не столько мускулами, сколько тем замечательным духом творческих исканий, которым была полна каждая частица их существа, и который пробуждал в них способность и волю к смелым дерзаниям.

Исследовав плато, приходилось спускаться вниз. Геолог Лабунцов, первым поставивший заявочные столбы на Расвумчорре, вскользь упоминает, что спускаться приходилось на веревках. Такие спуски мы видели только на экранах кино. Агроном Эйхвельд рассказывает, тоже между прочим, что при спусках он сплошь и рядом оказывался со своей партией в таких положениях,

когда не оставалось ничего другого, как ложиться на снег и, по возможности, стараясь не биться головами о камни, на спинах с'езжать по склонам обрывов до ближайшего уступа. Ни Лабунцов, ни Эйхвельд в подробности при этом не вдаются. Они говорят об этом мимоходом. Когда Эйхвельд описывает в своем дневнике природу этих северных мест,—его устами говорит настоящий, влюбленный в свою тему поэт. Даже ни разу не видав всего этого, можно почувствовать в его словах, в его записи, и изумительную белизну беспредельных снежных полей, освещенных красными лучами полярного солнца, и безмолвие гор, и сказочные блики фосфорического света, которым зажигаются вдруг застывшие, мертвые вершины, едва всходит луна, и суровую прелесть северного сияния, кружевные полыхающие завесы которого охватывают горизонт. Когда Лабунцов рассказывает об апатитах, об их перспективах, об их промышленном будущем—его слова, строки его рассказов насыщены подлинным пафосом борьбы и строительства. Он не упускает ни одной подробности, ни одной детали, ни одного штриха. Вероятно, чтобы сказать о Хибинах и об апатиях все, что он может и хочет сказать, ему понадобились бы целые тома. Но как только речь заходит о них самих, и Лабунцов и Эйхвельд смолкают сразу, и сразу превращаются в скупых рыцарей своих слов; им присуща та благородная скромность, которая всегда отличает настоящих, мужественных людей. Но

мы-то можем себе представить, что значит спуск на веревках, или такой спуск, когда, закрыв глаза и защищая головы руками, люди катятся по снегу с головокружительной высоты в обрыв! И они не только спускались сами, но и каждый раз выносили еще на своих плечах, на своем горбу целый транспорт пород для лабораторий с этих неприступных вершин. По примерным подсчетам, экспедициями, которые обследовали Хибины, проделан путь общим протяжением в тысячу с лишним километров и вынесено на плечах свыше трех тонн груза для опытов. Положительно, нужно было быть, чтобы провести эту титаническую работу, людьми какой-то особой породы, теми людьми, которыми так восхищаемся мы, читая захватывающие рассказы о пионерах и завоевателях Аляски, Клондайка и Юкона! Нужно было сочетать в себе и горячую любовь к науке, и исключительную преданность делу, и суровое, самоотверженное мужество подлинных покорителей земли, чтобы сквозь снега и льды, сквозь непроходимые леса и вековые груды валунов проложить для страны первый путь к Расвумчорру, к неисчерпаемому источнику новых сказочных наших богатств!

И не только о Лабунцове, о Куплетском и об Эйхвельде идет ведь речь. С ними ходили в Хибины, перенося все страшные тяготы этого пути, десятки других людей. В горы и на полустанок Белый, когда началась постройка дорог к Расвумчорру и потянулись вниз, к полотну Мурманки

первые транспорты породы с плато—пришли и поселились здесь сотни рабочих, инженеров, техников, десятников, служащих, механиков, шоферов. Я был в Хибинах зимой 1929 года и видел, как они жили здесь в легких парусиновых палатках, раскинутых в тундре прямо на снегу. В палатках на снегу при здешних сорокаградусных морозах, при здешних жесточайших вьюгах, когда даже настоящие дома настолько заметает, бывает, за ночь снегом, что поутру приходится снаружи откапывать лопатами дверь! Они питались впроголодь, потому что вопрос о регулярном снабжении апатитового городка застрял где-то в инстанциях; они почти лишены были теплой одежды, потому что тут были какие-то «неувязки», и валенки и полушубки месяцами странствовали где-то, никак не попадая к месту назначения; они лишены были фактически и всякой связи с миром, потому что прошло почти полгода, прежде чем удалось добиться, чтобы было открыто почтовое отделение и установлен телеграф на полустанке. И все-таки они не разбегались, не ныли, не падали духом. «Неувязки», конечно, возмущали, волновали и нервировали их, но они переносили лишения с тем же чувством, с тем же ощущением, с каким карабкался навстречу победе по отвесным обледенелым скалам Расвумчорра геолог Лабунцов. Они воспринимали неудачи, как воспринимает удары хлыста молодая, горячая лошадь у финиша; чем острее,

чем болезненней были «неувязки», тем настойчивей рвались они вперед. Когда началась укладка дороги от полустанка в горы, они работали, прокладывая себе путь по болотам, выбиваясь из сил, по пояс в воде; комары, от которых ничем невозможно было защищаться, целыми тучами облепляли их, и их искусанные лица настолько вспухали к вечеру, что они сами не узнавали себя, смотрясь в зеркальца. Когда понадобилось поднять станок для буровой установки на вершину Расвумчорра— они втащили туда этот груз на своих руках; канат до крови тер им ладони и плечи, они надрывались, изнемогали, скользили, падали, опять подымались и снова впрягались и тащили двигатель все выше и выше. Измученные, обессиленные, бледные — они дышали судорожно, как рыбы, выкинутые на песок, когда добрались наконец до вершины; но двигатель был поднят все-таки и водружен на Расвумчорре! Такие вещи не делаются за деньги, такая работа не расценивается на рубль. Только люди, в которых живет подлинный дух завоевателей природы, могли проделать блестящую эпопею покорения Хибин.

Сейчас эта эпопея отошла уже в прошлое, она стала уже эпизодом, сданным в архив. В Хибинах разбит уже сейчас целый город с сотнями настоящих жилых домов, со службами, с банями, столовыми, клубом и кино, и палатки сохраняются только как музейные экспонаты неких доисторических времен. В горном городе размещено уже

около пяти тысяч человек. К разработкам, помимо шоссе, по которому снуют автомобили, тянется уже новая железнодорожная ветка; она в состоянии принимать сверху груз тысячами тонн и пропускает до восьми пар поездов в сутки. Конкретно поставлен уже вопрос о гидростанции, запроектированной на одной из ближайших горных рек, энергией которой будет питаться весь район; начата постройка обогатительного завода. Контуры будущего промышленного центра ясно ощущаются уже во всей обстановке Хибин. Вчерашний день выглядит уже сегодня, как перевернутая страница в книге; но тем большей благодарности заслуживают люди, чьими руками была вписана эта удивительная и замечательная страница...

Что же такое апатит, путь к которому был проложен самоотверженными завоевателями Хибин? Какова его ценность? В чем его значение? Почему придается сейчас такое огромное значение промышленному развитию и будущему Хибин?

Порода, обнаруженная в Хибинских горах, слагается, грубо говоря, из двух элементов: она почти в равных долях содержит, во-первых, апатит с огромным процентом фосфорита и, во-вторых, нефелен с таким же огромным содержанием щелочей. Промышленная ценность обеих пород чрезвычайно велика,—особенно если принять во внимание размеры залежей, площадь которых определяется десятками тысяч квадратных метров и колоссальные запасы которых достигают пяти-

сот миллионов тонн. Пятьсот миллионов тонн! Такого необ'ятного, такого концентрированного апатитового месторождения никогда не знал еще мир. Апатитовые жилы Норвегии дают около тысячи тонн отсортированной породы в год, и они считаются одними из крупнейших в Европе; канадские жилы в Квебеке и Онтарио дают всего 600 и 700 тонн, и эксплоатация их считается чрезвычайно выгодным делом. А мы, беря в Хибинах даже миллион, даже два или три миллиона тонн породы в год. исчерпаем их запасы только через... двести лет!

Хибинский апатит содержит в себе в среднем, от 20 до 30 процентов так называемого фосфорного ангидрида, наличием которого определяется возможность переработки породы в суперфосфат, в удобрительные туки для полей. Этот процент чрезвычайно высок, он много выше необходимой нормы. Испанские апатитовые месторождения, например, содержат всего 15 процентов фосфорного ангидрида, и они считаются единственными по качеству жилами. Но качество хибинского апатита вдвое выше.

Чтобы оценить во всей его величине исключительное значение хибинских залежей и разработок в системе хозяйства нашей страны, надо учесть несколько простейших цифр. В довоенное время на поля России вносилось ежегодно, в качестве искусственных удобрений, свыше 100 тысяч тонн суперфосфата и фосфорной муки. В 1928 году эта цифра превысила уже 300 тысяч тонн. К концу же пятилетки мы рассчитываем дать полям около трех миллионов тонн суперфосфата; в переводе на хлеб это составит, примерно, около восьми миллионов тонн добавочного зерна! Наше сельское хозяйство, вступив в полосу коренной реконструкции, из года в год стремительно увеличивает спрос на минеральное удобрение, доводя потребление фосфорных туков до неслыханных в России размеров; но непреодолимая почти трудность состоит, вернее состояла, у нас в остром недостатке собственного сырья для суперфосфатных заводов. Мы жили до сих пор главным образом за счет ввозных, марроканских фосфоритов, оплачивая золотом, долларом буквально каждый грамм. И к концу пятилетки мы должны были ввезти фосфоритов из Марокко на тридцать миллионов рублей. При наших валютных затруднениях это была почти невозможная вещь, и сам собою встал, следовательно, вопрос о необходимости до минимума срезать программу минеральных удобрений; но каждое кило суперфосфата, внесенное на поля, безмерно повышало урожай, сулило нам десятки добавочных центнеров хлеба с колхозных полос,—и вопрос стоял, следовательно, так, что, срезая программу удобрений, мы срезали и программу будущих урожаев с необъятных сибирских, приволжских и украинских земель. Сейчас, когда открыты хибинские апати-

ты, этот вопрос снят с повестки дня. Мы оказались неожиданно настолько богаты фосфорным сырьем, что можем буквально наводнить им не только свой, но и мировой рынок. Думать сейчас о ввозе марроканских фосфоритов было бы смешно: напротив, мы сами двинули уже через Мурманский порт первые партии экспортного апатита в Германию, и в самом недалеком будущем займем одно из первых мест в числе его мировых поставщиков.

Мы по крайней мере на сто лет обеспечили себя, завоевав Хибины, собственным сырьем для минеральных удобрений, раз и навсегда освободившись от иностранной зависимости и необходимости многомиллионного импорта. Вот в чем исключительное значение этого открытия!

Это, во-первых. С другой же стороны, хибинская порода содержит в себе колоссальные запасы нефелина, богатейшего щелочного продукта. Грубо говоря, в каждых 4 кило нефелиновой породы заключено кило соды. Огромный, исключительный процент! Сода же, щелочи, как известно, представляют собой самую дорогую из составных частей стекла; кремнезем и известь обходятся по сравнению со щелочью в копейки. Производство соды за границей сосредоточено в руках крупнейшего концерна Сольвэ, который, регулируя рынок, никогда не допускает на нем избытка

щелочей и искусственно поддерживает постоянно высокие цены на свой продукт, снабжая им весь мир. При том росте стеклоделия, которое намечается в наших хозяйственных планах, мы почти неизбежно должны будем, если не обнаружатся дополнительные внутренние ресурсы и возможности, встать на путь импорта соды, также записавшись в число клиентов Сольвэ и подчинившись тем условиям, которые он захочет продиктовать. Хибины и тут, однако, освободят нас от этой тяжкой зависимости и миллионных валютных затрат. Хибинский нефелин, как сейчас установлено уже с несомненностью, вполне может заменить соду в стекольном производстве. Опыт такой замены уже есть у нас: на Боржомском бутылочном заводе уже добрых 25 лет пользуются, отказавшись от соды, местной породой «андезит», и это дает вполне удовлетворительные результаты. А содержание щелочи в «андезите» гораздо ниже, чем в хибинском нефелине. Опыты с нефелином широко поставлены сейчас на заводе «Дружная горка» под Ленинградом, и превосходят все ожидания. Стекло получается почти вдвое дешевле и гораздо прочнее обычного; оно дает ничтожный процент боя при транспортировке и почти не лопается при наливе и хранении. Получается стекло тех высоких сортов, какие употребляются во Франции под шампанское. Правда, пока мы получаем из нефелина только цветное стекло, годное для пивных и квас-

ных бутылок и для аптечной посуды; но если окажется практически возможным очистить нефелин от примесей железа—оно примет обычный белый цвет. Тогда промышленные возможности хибинского массива возрастут еще в несколько раз.

Нефелин залегает в Хибинах огромнейшими массами, насчитывающими десятки, может быть, сотни миллионов тонн; запасы его практически безграничны. И рядом, на побережьи озера Имандры, мы имеем одновременно огромнейшие скопления чистого кварцевого песка для будущего стекольного производства, которое здесь, безусловно, возникнет; известняков по близости еще не обнаружено, но предположений и догадок об их месторождениях в округе есть десятки, и почти не приходится сомневаться, что не сегодня завтра они будут открыты. Таким образом, в Хибинах сочетаются все породы, все элементы, необходимые в стеклоделии; мы получили здесь неиссякаемый, мировой по масштабам и по качеству, источник собственного сырья для стекла!

Было над чем поработать, есть чем похвастать, есть что вписать в свой актив подлинных энтузиастов нового строительства людям, проложившим дорогу к горе Расвумчорр!

... Чрезвычайно характерен, между прочим, для нашей экспортной работы с апатитами и для нашего отношения к такому огромному и блестящему делу вообще—один инцидент.

Весной 1930 года из Мурманска была отправлена первая партия апатитовой руды в Гамбург. Понятен и тот интерес, который вызван был этим открытием в Европе, и та суматоха, которая началась в Гамбургском порту, когда там отшвартовался первый советский пароход с грузом из Хибин.

Представители фирм и прессы целой толпой ввалились на палубу, едва были отданы концы у пристани. Они буквально рвали друг у друга из рук образцы породы, набрасывались на экспонаты, как голодающий на хлеб. Они бегали с лупами, с блокнотами и с фотоаппаратами по пароходу, засыпая всех вопросами. Каковы размеры и каковы практические возможности разработок в Хибинах? Сколько фосфора содержится в породе? Что показало пробное обогащение и первые опыты с сиенитом на стекольных заводах? Как обстоит транспортный вопрос, какова длина причальной линии в Мурманском порту и сколько пароходов в навигацию он в состоянии будет пропустить? Триста? Четыреста? Пятьсот? Они просили уважаемых экспортеров тотчас же снабдить их печатным описанием породы, они просили тотчас же представить их лицу или лицам, сопровождающим этот исторический, как они выразились, груз и уполномоченным дать будущим покупателям необходимые раз'яснения. Ведь это была первая партия советского фосфорного сырья, двинутая в Европу; ведь

этой пробной поставкой открывалась новая эпоха в области фосфоритов; ведь хибинский апатит угрожал и угрожает настоящим переворотом на мировом фосфоритном рынке; ведь этим начиналось миллиардное дело с будущим, сказочным, как история каких-нибудь золотоносных песков на Клондайке! И представители фирм спешили узнать из первых рук подробности, чтобы ориентироваться и наметить и решить, какое место им удастся и придется занять в этом новом, колоссальном деле; и репортеры суетливо щелкали кодаками, мысленно составляя уже текст заметок и статей, которые сделают завтра очередную сенсацию в прессе...

Но ни лица, уполномоченного дать объяснения, ни описания породы—ничего этого на пароходе не оказалось. Больше того,—среди уважаемых экспортеров вообще не нашлось ни одного человека, который имел бы хоть какое-нибудь, хоть самое общее и смутное представление о том, откуда, куда, зачем идет и что представляет собой «исторический» груз из их страны, встречать который собралась целая толпа на пристани.

Капитан, которого вначале атаковали было представители фирм и репортеры, сказал только, позевывая, что камни взяты им в Мурманске, и там он слышал, будто из них будут делать муку в Гамбурге. О какой муке шла речь, он не знал и при

этом опускал глаза и прятал улыбку в усы; конечно, немцы до многого дошли, они и обезьяну выдумали и сахар из воздуха гонят, но чтобы получать муку из камня?! Грузчики надорвали животы от смеха, когда об этом говорили в Мурманске.

Ничего больше капитан сообщить не мог. На всякий случай он послал за помощником. Помощник ничего не слышал о муке, но он высказал скромное предположение, что апатитами будут мостить улицы в Гамбурге.

— Но, сударь, это не для улиц!—изумленно сказал один из немцев:—это для полей!

— Да уж там мостите, что пожелаете, хоть улицы, хоть поля, — ответил помощник: — не знаю только, что у вас вырастет на полях, если их замостить...

Представители фирм и репортеры были озадачены. Положение создавалось неловкое. На выручку вызвали боцмана и кое-кого из матросов. Но те тоже ничего не знали, и ничего не могли толком сказать. Они с изумлением слышали перед этим, как портовый чиновник распорядился пропустить весь груз через контрольные весы, а представитель фирмы, в адрес которой прибыли фосфориты, просил тщательно собрать все осколки и даже всю апатитовую пыль, накопившуюся за время плаванья в трюмах. Это отчасти забавляло, отчасти возмущало их. Нашли что взвешивать, ей-богу! Кило больше, кило мень-

ше—ну, какая разница! В Мурманске портовые ребята для забавы целыми глыбами пихали этот камень с мола в воду, чтобы посмотреть, как будут разбегаться круги, а тут щепотки собирают! Сказано — немцы!

— Делать им нечего, чертям, — сердито сказал боцман, — вот они и придумали нас вокруг столба водить. Не знаем мы ничего, мусье!

Тут помощник вспомнил, что пароходная уборщица Дуня родом из какого-то поселка близ Хибин. Уж она-то наверно досконально все знает об этих чортовых камнях! Уж она расскажет!

Позвали Дуню. Она пришла и, застыдившись под общими взглядами, опустила глаза, теребя передник. Шесть аппаратов тотчас же направились на нее, и почти одновременно щелкнули шесть кодаков. «Фрейлен Дуния дает пояснения представителям фирм и печати».

— Да что ж я знаю?—сказала Дуня, когда ей перевели вопросы немцев:—камень, как камень. У нас им ребятишки рыбу бьют в озере.

— Но каковы данные анализов?—спросил один из немцев:—например, с и е н и т?

— Нисколько не с и н и т,—обиженно сказала Дуня:—выдумают, право! Он же белый, как он может синить?

— Ангидрит?

Но в этом слове Дуне смутно послышался отзвук одной из фигурных вариаций могучего русского языка. Она вспыхнула, повернулась и ушла.

Она была целомудренная девушка, не терпела выражений.

— Это странно!—сказал, пожав плечами, второй немец, представитель земельного банка.—Дас ист зондербар. Вы меня извините, капитан, но я считаю это легкомысленным. Дас ист ляйхтзиниг. О Хибинах говорят уже год, но н и о д н а ф и р м а д о с и х п о р н е и м е е т о т в а с п р о с п е к т а. Мы нигде ничего не можем толком узнать. Конечно, это меня не касается, но я скажу, если позволите, что так двигать дело нельзя. Когда у нас Франц Эмануил Гревер выпустил новое средство от клопов, весь Гамбург и вся Европа узнали об этом через 24 часа, он отпечатал четыре миллиона рекламных листков и разослал их с экспонатами полтораста агентов во все страны.

— Мы клопами не занимаемся,—угрюмо сказал капитан.

— Да, но здесь не клопы, здесь мировое дело! Франц Эмануил Гревер ведет, между нами говоря, копеечные операции. Но нет ни одного дома в Германии, где не слышали бы о его порошке «Идеал счастья». А вы открыли мировое богатство, но об этом до сих пор не знают никаких подробностей не только фермеры, но даже крупнейшие фирмы, банки и стекольные заводы в Европе. Вы меня, извините, я не хочу вмешиваться в ваши дела, но если бы вы разослали сто агентов и миллион прейскурантов по миру, это

окупилось бы в один месяц! Это несомненно! Дас ист оне цвайфель!

— В торгпредство обратитесь,—недружелюбно сказал капитан.

— Обращались, но там также ничего нет.

— Ну, нету, стало быть, и не полагается.

Представители фирм и прессы ушли, пожимая плечами, ничего не узнав и не добившись. Они живо обсуждали, гурьбой остановившись на мостках, этот странный случай. Поведение экспортеров казалось им загадочным и необ'яснимым... Может быть, большевики хитрят, не желая открывать до поры до времени всех карт? Но как неискусно это делается в таком случае! Или, может быть, сообщение о колоссальных залежах фосфоритов в Хибинах было только уткой, пущенной, чтобы поднять свои шансы в банках? Но еще никому не удавалось получить кредиты под этих птиц. Или большевики намеренно молчат, чтобы заинтриговать биржу? Они терялись в догадках.

Конечно, никто из них не мог представить себе, что у нас попросту забыли отпечатать проспекты, или не пожелали потратить на них, начиная миллиардное дело, несколько сот рублей, или этот вопрос еще не подработан, не согласован и не увязан в инстанциях,—благо с момента открытия апатитов прошло тогда не больше... двух лет. Об'яснять им это было бы бесполезно. Все равно, они не поняли бы...

VI

Шокша. — По озерам. — На водопадах. — Поэзия и проза. — Будущий день. — Порфиры. — Случай на Чупинской губе. — Богатства северной земли. — Романтика закатов и романтика техники.

В Шокшу мы приехали поздно, когда на потемневшем, северном небе догорала уже вечерняя заря. На разработки отсюда надо было ехать лодкой по озеру; подернутая легкой дымкой тумана, призрачной громадой виднелась на том берегу легендарная гора малинового камня.

Изумительны и прекрасны карельские озера летним днем, когда высокое и яркое солнце заливает их просторы сверкающим серебром, настолько ослепительным, что больно делается смотреть глазам! Стройные пирамидальные сосны, разбросанные повсюду на островках, открывают навстречу солнцу поры, и аромат хвои, настолько густой, что его осязаешь, как будто, руками, стелется над водой; высоко-высоко в небе, распластав крылья в воздухе, парит одинокий ястреб, высматривая острым глазом добычу; тихонько и таинственно шумит лес на берегах, на скалах, обрамленных каймой красноватых, пестрых мхов... Как

легко, как свободно дышится, когда, вырвавшись из тесноты городских закоулков, попадаешь на простор дикой, но чудесной и торжествующей северной природы!

И еще прекрасней эти озера в белую летнюю ночь, когда прозрачные, синеватые сумерки окутывают притихшие берега, и нежнейший опаловый луч солнца, догорающего на горизонте, скользит, играя, по их застывшей воде, и чуть дрожит, точно живой, причудливый узор черных отражений, бросаемых соснами со скал на их зеркальную поверхность. Особенная какая-то, чарующая, хрупкая и звонкая, как хрусталь, тишина стоит в эти часы над завороженной водой и берегами; всплеснет изредка рыба, сорвется, испуганно хлопая мокрыми крыльями, утка из кустов, постучит дятел о дерево—и снова тихо, и только слышно как где-то далеко-далеко кукует кукушка в лесу и чуть плещется вода в каменистой гальке у берега. Ощущение исключительного какого-то покоя овладевает и телом и сознанием; так и ехал бы, кажется, без конца, в утлой лодочке, слушая, как капают за шуршащими бортами капли с весел, и с наслаждением отдаваясь тому особенному чувству беспричинной и бесхитростной радости, которое овладевает постепенно всем существом. И величественная Онега, и напоминающее японский рисунок тушью Кончозеро с одинокими, прямыми, как свечечки, соснами на островах, и бурное Семозеро и Имандра, зажатая в кольце

гор с белыми, сверкающими круглый год снежными шапками на вершинах,—все они, как тончайшие образы живой, покоряющей красоты, навсегда остаются в памяти у человека, хоть однажды стоявшего на их пустынных берегах.

Прекрасны и карельские водопады, щедро разбросанные повсюду в этом сказочном краю на порогах и стремнинах бурных, неукрощенных рек! Я видел и Кивач, о котором с волнением и восторгом писал когда-то Державин, что тут «алмазна сыплется гора, жемчуга бездна и сребра», и Надвоицкий водопад, отвесная скала которого повисла в воздухе в виде трех отточенных столетиями зубцов, разбивающих на отдельные струи бешеный, падающий с высоты восьми метров, кипящий, грохочущий поток, и Подужемье с его диковинным фонтаном, с вечным водяным фейерверком, бьющим из расщелины порогов. Не знаю, что может сравниться по впечатлению, которое они оставляют, с этими местами, где точно сконцентрированы на нескольких квадратных метрах каменистой, первозданной земли вся мощь, вся дикая сила и красота дерзающей на последний реванш с человеком природы. Изумительные, незабываемые уголки!

Но нам, людям своего времени, трудно, очевидно, быть романтиками. Мы смотрели на водопады, величавая красота которых покоряла трепетавшие сердца поэтов, и все подсчитывали, помнится, какая бездна даровой энергии, способной

преобразить весь край, на протяжении столетий погибает, бессмысленно изо дня в день в этих потоках, прекрасных, но настолько бесполезных пока человеку! В реках и водопадах этого края заключено, примерно, около полутора миллионов лошадиных сил. Полтора миллиона сил на территории, по размерам немногим превосходящей одну крупную нашу центральную область! Сказочная цифра! Каких чудес они натворят когда-нибудь, эти узники, вырвавшись из тех каменных оков, в которых так бешено и беспомощно бьются сейчас! Ведь энергии одного Надвоицкого водопада достаточно, чтобы с первого до последнего километра электрифицировать всю железнодорожную Мурманскую магистраль! Ведь силой одного Кивача сверху донизу можно бы механизировать, освободив от тяжкого труда целую армию людей в 100 тысяч человек, весь процесс лесных заготовок в Карелии! Ведь током с одной только Подужемской станции на диких порогах близ Кеми—зажглись бы тысячи, десятки тысяч электрических солнц по всему этому, утопающему сейчас в полярной мгле краю! И стоя над водопадами, мы не столько любовались и волновались прекрасной игрой их алмазных россыпей и их «жемчужными безднами», сколько подсчитывали вольты и амперы, погибающие в этих безднах на наших глазах. Где-то на Суне или на Выге мы видели водяную мельницу, убогую избушку, приютившуюся

меж сосен на берегу; огромное, нелепое, допотопное колесо ее жалобно скрипело на ходу, и вся она, едва пускали воду, начинала стонать под ее напором, как живое существо в лихорадке, и трещала по всем швам и качалась прямо на глазах. Она перемалывала что-то около трети тонны зерна в день. Это была единственная гидроустановка, единственный водный гигант, встреченный нами за несколько недель путешествия по глухим местам этого края... Но что из этого! Разве мы не сидели при лучинах, когда зачинался ленинский план великих работ по электрификации России, и разве мы не производили сейчас пять с половиною миллиардов киловатт-часов в год? Один из наших писателей, крупный художник, лирик и эстет, посвятил целую главу этой мельнице в своей книге о Мурмане: вот она, лесная глушь, вот он настоящий поэтический колорит, вот она, овеянная дыханием прошлых веков, северная русская старина! Мельница умилила его почти до слез. А я смотрел на нее тоже с волнением, смотрел и явственно, казалось мне, видел в ее умирающих очертаниях контуры той другой, новой постройки из стекла и бетона, которая вырастет завтра на ее месте, вместив в своих просторных, светлых залах, взамен нынешнего каменного жернова, пять турбин по 10 тысяч сил каждая! Я видел, мне казалось, стоя на краю этих «жемчужных бездн», электрические станции там, где вздымаются сейчас только дикие вековые громады поросших мха-

ми скал, электрические пилы, где звучит только топор лесоруба, электрические поезда, где проходят только, волоча за собою кережки по сухой земле, олени в райде,—я видел, подсчитывая вольты и амперы, завтрашний день этого края, настолько богатого белым углем, что любой швейцарец или американец, потребляющий десятки тысяч киловатт дешевейшей электроэнергии в год, кажется нищим по сравнению с кольским лопарем, который освещает пока вонючим салом свой чум, но владеет богатством, которому нет ни цены, ни границ! И если это тоже романтика, когда видишь и чувствуешь и ощущаешь будущий новый Волховстрой в старенькой мельнице на реке, куда надо сутки тащиться в кережке от ближайшего полустанка—то она увлекает и волнует куда больше, эта романтика побеждающей человеческой мысли и техники, романтика творимой утопи, нежели умирающая, бесхребетная романтика нашего вчерашнего дня!

И точно так же, в лодочке плывя навстречу вставшей из тумана красной горе по застывшему, зеркальному озеру, и полюбовавшись опаловым закатом, и послушав ночного северного соловья, заливавшегося где-то на берегу, мы заговорили, помнится, что вот-де, какие богатейшие рыбные поля, какая богатейшая, если можно так сказать, рыбная целина нелепым образом остается неосвоенной и неиспользованной в этом краю, когда страна переживает, мобилизуя все возможные резервы и ресурсы, полосу таких тяжких продовольственных трудностей. Карельские озера буквально кишат рыбой. Здесь в изобилии водятся и форель, и лосось, и семга, деликатесные породы, которым нет цены на рынке; здесь ловятся пудовые щуки, изумительные по качеству сиги, плотица, окуни и судак, который даже тогда, когда он идет просто на крючок, не бывает меньше двух-трех кило весом. Рыбаки в деревне Угмойла на Сямозере расказывали нам, что сплошь и рядом на весеннем лове рвутся самые крепкие сети, до такой степени набивается в них напуганная рыба. В этой деревне, в среднем, на рыбака приходится две с половиной тонны добычи в год; сезон, когда удается выбрать всего полторы тысячи на душу, считается уже неудачным сезоном. Здесь есть, словом, все возможности поставить промышленное рыболовство на озерах, способных давать, вероятно, не меньше, чем дают внутренние водоемы в Германии, хотя бы. А немцы регулярно выбирают в своих озерах по центнеру рыбы с гектара в год! Одна маленькая Карелия, помимо Мурмана, насчитывает около восьми тысяч озер. Сколько же рыбы могли бы мы выбрасывать ежегодно отсюда на рынок, если бы поднялись до немецкого уровня! Но мы выбираем по кило вместо центнера, и промыслом —при этом случайным и совершенно кустарным промыслом—охвачена здесь, может быть, лишь одна сотая озер. На остальных, берега которых никогда не видели

еще рыбачьих лодок, царит тот же мертвый, сонный покой, что и сто лет тому назад... Людей, нет людей!

И мы говорили также, и думали, плывя к Шокше по озеру, что вот-де, какая отличная, совершенно исключительная водная система, какая мощная сверхмагистраль консервируется здесь, на этих озерах, без дела и без грузов, когда так остро встает сейчас проблема транспорта в стране. Ведь тысячи карельских судоходных озер, почти сплошь соединенных между собой каналами и протоками, как бы самой природой предназначены быть путем, по которому двинутся когда-нибудь сокровища ожившего севера внутрь страны. Озер здесь много больше даже, чем в Швеции и Финляндии; они разбросаны тут повсюду, они рассеяны так густо, что положительно не разбираешь с непривычки, где кончается одно и где начинается другое; они растянулись сплошной, сомкнутой цепью на сотни километров, закинувшись одним концом за полярный круг и другим выходя через Волхов к Ленинграду. А из Ленинграда идет прямой путь на Волгу и—в будущем—на Дон, и, стало быть, когда она будет хоть сколько-нибудь освоена и устроена, эта единственная в мире система озер, мы будем без перегрузки и самым дешевым из существующих тарифов отправлять суда с полярного круга прямо в Баку, в Ростов и в Одессу. Трудно даже представить себе сейчас все огромное хозяйственное значение этого пути,

когда он будет включен в нашу транспортную сеть, практически соединив Северный Ледовитый океан с южным, Черным морем! Конечно, нужно много сил и средств, нужно много времени, чтобы привести в систему эту магистраль; конечно, не сегодня и не завтра еще настанет день, который преобразит эти идиллические берега; но он настанет все же, он идет уже, несомненно, этот день, когда на диких, безлюдных скалах вырастут здесь, опутанные проводами, покрытые сетью кранов и лебедок, десятки пристаней, пирсов и причалов, и нетронутую гладь озер забороздят сотни теплоходов с флагом республики на корме. Как это ни странно, но именно в Шокше, в самом диком, захолустном и заброшенном уголке, мы особенно ясно почувствовали его приближение, его неизбежность, его близкое торжество. Несравненны здешние закаты и прекрасно поют ночные соловьи на этой «земле испуганных птиц», но я бы пожертвовал все же всеми соловьями и закатами севера, чтобы хоть краешком глаза, хоть на минутку увидеть в реальных очертаниях тот край будущего, который растет и вырастет здесь на руинах идиллического средневековья, на руинах старой нашей нищеты, дикости и косности — в этих окутанных романической дымкой местах!

Ибо, разве полет аэроплана менее прекрасен, чем полет орла, и радио, как продукт творческой человеческой мысли, волнует меньше, чем рулада соловья?..

...Шокшинский красный порфир поражает угрюмой и дикой своей красотой. В породе, в горе, он выглядит серым и невзрачным, как всякий кварцит; но если отшлифовать камень и брызнуть на него водой—он алеет вдруг, почти на глазах, точно из всех его пор выступают капельки крови. Он горит тогда и переливает красками и оттенками, как рубин, как благородный камень чистой воды. Удивительное дело! В Европе знают о шокшинском порфире уже сотни лет и считают его лучшим в мире материалом для художественной архитектурной облицовки; несмотря на все трудности, с какими сопряжен его вывоз с разработок, карельский порфир украшает лучшие общественные здания в целом ряде европейских столиц; из него сложена даже гробница Наполеона в Париже, строители которой остановились на порфире, как на единственном материале, достойном памяти того, кто считается во Франции бессмертным героем нации. У нас же, хотя залежи этого несравненного камня расположены всего в двух сутках водного пути от Ленинграда, не знают о нем даже и по наслышке. У нас же, хотя запасы порфира практически почти неисчерпаемы и хотя страна переживает острый дефицит в строительных материалах — за все время революции не было еще, кажется, ни одного случая, когда он сколько-нибудь широко был бы пущен в дело. Исключение представляет один только новый мавзолей Ленина, верхняя часть которого почти це-

ликом сложена из монолитов карельского порфира. Все мы видели и знаем и убедились, как величественно, как торжественно и прекрасно выглядит этот исключительный камень в историческом сооружении на Красной площади Москвы; тем более удивительно и непонятно, почему наши строительные организации с таким упорством продолжают игнорировать единственную в мире его разработку в Шокше! Он обладает отличными техническими качествами, необычайно крепок и эластичен одновременно и сравнительно легко колется. Он чрезвычайно дешев, и даже при нынешних кустарных методах добычи обходится не свыше одиннадцати рублей за кубометр; но при самой элементарной рационализации разработок эта цена может быть снижена, по крайней мере, вдвое. Пять-шесть рублей за кубометр камня, почти не уступающего по своим качествам строительному мрамору! Что может быть дешевле этого? Порфир залегает в Шокше огромным массивом, который раскинулся на площади в двадцать гектаров на десятки метров вздымается вверх и уходит вниз много ниже уровня озера. Беря отсюда даже по двести тысяч кубических метров в год, мы едва ли исчерпаем эти запасы в триста, в четыреста лет. Вопрос стоит, словом, так, что мы из сезона в сезон могли бы заменять этим камнем десятки миллионов дефицитного кирпича на рынке, если будет уделено то внимание Шокше, которого она требует и заслужила. И каким камнем! Разве

хоть в какой-нибудь мере можно сравнивать по крепости и по красоте кирпич с малиновым порфиром? Конечно, при нынешнем положении вещей дать выработку, которая имела бы союзное значение, Шокша не в состоянии. Весь процесс добычи, обработки и погрузки брусчатки и монолитов идет здесь вручную, от начала и до конца. Порфирную скалу бурят сначала ручным буром, по которому рабочий бьет сверху молотом; большие камни, отколотые затем ломами, разбивают с помощью клиньев и закольников, своеобразных молотков с заостренными краями, на средние и мелкие; потом им ручными же клинками, особенными широкими стамезками, придают форму плиток, и плитки слегка шлифуют шпунтами. Вручную брусчатка накладывается на тачки, вручную же она отвозится и сгружается на баржи и на пароходы. Даже кран, которым подымаются большие, насчитывающие десятки тонн монолиты, и тот вертят руками, и к тому не приспособлен даже какой-нибудь моторчик в десять, в двадцать сил! Процесс добычи целиком построен, словом, на примитивнейших методах прошлого века; точно так же, точно тем же инструментом работали здесь, калеча руки молотками и повреждая глаза острыми осколками камня, и пятьдесят и семьдесят лет тому назад! Эта система страшно удорожает, конечно, порфирную брусчатку и ограничивает ее добычу, ибо два погонных метра камня являются пределом того, что может дать в этих условиях самый опытный

и дельный рабочий. И я сомневаюсь, чтобы при такой постановке дела и при хроническом недостатке рабочих рук на севере—можно было бы выйти за пределы нынешней программы добычи на порфирах, исчисляемой в 20 тысяч кубических метров брусчатки в год. Это, конечно, капля в море, и из-за этого не стоит городить огород. Но если бы вложить в это дело хоть какие-нибудь средства, если бы хоть сколько-нибудь механизировать добычу — каким неслыханным количеством первоклассного строительного материала мы могли бы завалить рынок!

Тут встает, правда, вопрос о транспорте и о стоимости перевозки, то-есть практически, и уже сегодня, уже сейчас встает вопрос об организации того водного пути по тихим карельским озерам, о котором, неисправимые прозаики, мечтали и говорили мы, под'езжая бледной северной ночью к подножью порфирной горы. Действительность перегоняет при наших темпах всякую фантазию!

Пароходы заходят в Шокшу и прямым рейсом доставляют отсюда камень в Ленинград уже и сейчас; но система озер, уходящих к северу за Шокшу, в целом остается неиспользованной, действующий участок чрезвычайно короток, плохо оборудован, незагружен и мало рентабелен; перевозочный тариф вследствие всего этого остается здесь очень высоким, и это сильно удорожает камень и сплошь и рядом заставляет отказываться

от него строительные органы на местах. Получается так, что сидя без камня, мы сами вынужденно поддерживаем такую цену на его перевозки, которая делает практически невозможным его сколько-нибудь широкое применение в промышленности. Может ли быть что-нибудь нелепее этого? Конечно, все это устранится само собой, если система карельских озер из случайного тракта, хотя бы на основной грузовой линии, будет превращена в постоянную магистраль, если она сколько-нибудь будет устроена, загружена и оживлена. Мы имеем же здесь блестящий опыт Мурманской дороги, которая, будучи проложена по этим диким местам, вызвала тут к жизни, сама создавая для себя грузы, целый ряд богатейших производств, от консервного дела до апатитов включительно, и целый ряд районов, в которых не ступала до этого нога человека. Она пришла сюда не в качестве перевозчика готовых товаров, но как организатор хозяйства и колонизатор края и отлично справляется с этой своей задачей. Почему бы в помощь ей не мобилизовать на такую же роль и водную магистраль Карелии и Мурмана?

Сами по себе, порфиры, конечно, не оправдали бы связанных с этим затрат и трудов. Но дело в том, что порфир является лишь микроскопической, ничтожной частью тех горных богатств, которыми владеет этот край, и которые на протяжении столетий лежат совершенно нетронутыми в его недрах.

Не будем говорить о торфе, который невиданным, трехметровым слоем залегает повсюду на необозримых болотах севера; это не материал для дальних перевозок. Не будем говорить о железе, об озерных отличных железных рудах, запас которых в карельских озерах исчисляется, примерно, в 17 миллионов тонн; вопрос об их разработке не является, по ряду причин, вопросом сегодняшнего дня. Не будем говорить о золоте и серебре, добыча которых когда-то довольно широко была поставлена здесь в целом ряде районов—и в Воицах, и в Ушкове, и близ Керети, и на Медвежьем острове; допустим, что это дело, хоть оно и таит в себе огромнейшие шансы и возможности,—тоже дело второй очереди и значения. Но в тридцати каких-нибудь километрах от красной Шокшинской горы, на Роп-ручье залегают огромнейшие массивы диабаза, того самого диабаза, плитками которого, вывозимыми почти исключительно из Карелии, мостятся московские улицы и улицы десятков других городов, от Ленинграда и Днепропетровска до Одессы включительно. Диабаз залегает здесь таким массивом, что при добыче в полтораста тысяч кубометров в год его хватит нам, примерно, на 120 лет вперед. Понятно исключительное значение этих единственных у нас по мощности разработок в стране, которая впервые в своей истории начинает покрываться сетью проезжих культурных дорог!

Вслед за диабазом идут мраморы, которых Карелия насчитывает свыше тридцати сортов. Карельские мраморы издавна известны своим высоким качеством и у нас и в Европе. Они украшают Зимний дворец, Исакиевский собор и целый ряд музеев в Ленинграде, и в старое время довольно широко вывозились с нашего севера за границу. Европа, в частности, Франция, Германия, а так же и Аргентина и сейчас проявляют к ним большой интерес, и нет никаких сомнений, что если бы на это дело было обращено внимание, мы легко могли бы организовать постоянный экспорт карельского мрамора на запад. Мировыми его поставщиками являются Швеция, Норвегия и Финляндия, мраморные массивы которые вполне однородны с нашими; и у нас есть все основания и шансы, помимо того, чтобы широко использовать дешевый и прекрасный северный мрамор в собственном строительстве — выйти с ним еще и на внешний рынок.

Дальше идет полевой шпат. Карельским шпатом питается сейчас вся наша фарфоро-фаянсовая промышленность почти прекратившая его импорт; норвежский и шведский шпат, который мы ввозили до сих пор, оказался по качеству много хуже и обходился, конечно, много дороже нашего. Залегания шпата, всюду почти что чрезвычайно важно и ценно, богато подостланного кварцем, установлены в целом ряде мест в Карелии — и на Чупе, и под Сорокой, и близ Кеми, — но точных данных об их мощности пока нет. Смешно сказать, и это звучит, как анекдот, но у единственной организации в Карелии, которая занимается исследованием и разработкой ее огромнейших горных и минеральных богатств, у Карелпранита, не оказалось тысячи рублей, чтобы пройти сколько-нибудь широкой разведкой по местам, где залегает этот бесценный минерал! Правда, и того, что открыто и обследовано уже, хватит для нашей промышленности, примерно, на 25 лет вперед, но это все же, очевидно, лишь маленькая часть того, чем располагает на самом деле этот сказочно-богатый край. Недавно началась, например, разработка жилы шпата на Чупинской губе; жила оказалась средних размеров, и отсюда рассчитывали взять всего несколько тонн сырья, разведки же вокруг не предпринимались, за полным отсутствием средств и людей. А через неделю кто-то из рабочих, возвращаясь на разработку со станции и заблудившись, совершенно случайно открыл всего в полукилометре оттуда новую жилу, примерно, уже в 300 метров длины, и люди не верили своим глазам, когда начали здесь бурить; они пробурили пятнадцать метров—и все шел и шел чистый, великолепный, бесценный шпат... Еще две-три таких «случайности», и, пожалуй, не мы у Норвегии, а Норвегия у нас начнет покупать этот продукт, который столько лет мы оплачивали валютой, топча его на собственной земле лаптями!

Затем мы имеем в Карелии слюду, дающую так называемый калиброванный, самый высокосортный продукт в крупных пластинах; на мировом рынке такая слюда ценится до 500 долларов за кило. Сейчас Карелия дает до трехсот тонн слюды в год, но при самых ничтожных капитальных вложениях эта цифра может быть удвоена; конечно, не все семьсот тонн будут калиброванной слюдой, но ведь и мелкие пластины можно клеить и прессовать, ведь и за них мы расплачиваемся сейчас долларами, ввозя их из-за границы!

Дальше — тальк о-хлористый сланец, залегания которого на севере практически почти безграничны. Он мало еще популярен сейчас, но ему предстоит, несомненно, огромное будущее в мировой промышленности, как диэлектрическому материалу. Он широко может быть пущен на реостаты и распределительные щитки в электротехническом производстве, в котором до сих пор шел на эти предметы исключительно дорогой высокосортный мрамор; его диэлектрические свойства даже выше, чем у мрамора. Доски из тальк о-хлористого сланца чрезвычайно легки, они совершенно не бьются и их свободно можно пилить любой пилкой и даже резать перочинным ножом. Кроме того, мелкие куски породы, перемолотые в порошок, дают совершенно неизвестную до этих пор в промышленности массу, которая чрезвычайно легко поддается любой штамповке; она широко может пойти на штепселя, выключатели и т. д., и это в несколько раз снизит цену на эти мелкие предметы, которые будут обходиться у нас не больше 2—3 копеек за штуку. Опять-таки — какую же колоссальную перспективу открывает это перед страной, в которой впервые широко идет электрическая лампочка на смену лучине и электрический плуг на смену старой сошке!

Наконец, шунгит, с богатой примесью ванадия, особой породы, которая идет в качестве примеси к дорогим, высшим сортам стали и ценится дороже, чем золото и даже платина на мировом рынке; наконец, свинец, крупные залежи которого обнаружены в районе Сегозера; наконец, цинк, разработки которого могут быть поставлены по берегам Порьей губы...

В сумме все это создает, дополняя друг друга, такой исключительный ассортимент минерального сырья для союзной промышленности, каким не обладает ни одна другая область в республике. Минеральное сырье вообще является полузабытой и беспризорной областью в нашем хозяйстве; до самого последнего времени этому делу не уделялось у нас почти никакого внимания. Между тем, это минеральное сырье все больше и больше становится основным видом сырья для целого ряда возникающих, новых отраслей промышленности. Алюминий, титун, баррит, колчедан, слюда, гранит, асбест, боксит, шпат, беррилий, апатит, сера, вольфрам, трепел, тальк, кварциты, наждак — кто говорил о них серьезно тридцать лет

тому назад? И какую исключительную роль, создавая новую эпоху, играют они сегодня, на основе новейших научных открытий и достижений в промышленности? Мировое потребление минерального сырья определяется сейчас уже суммой в два миллиарда долларов в год, возросши за последние 25 лет, примерно, в сто раз и продолжая расширяться изо дня в день. Повсюду на Западе вкладываются огромные средства в это дело, организуются новые концерны и картели, широко ставятся изыскательные и исследовательские работы и широко механизируется самая добыча сырья. Мы же сильно отстали в этой области, недооценивая исключительного значения, которое приобретают постепенно минералы в современном хозяйстве. До последнего времени у нас не было вообще даже планирующего и руководящего органа, не было даже ни одного сколько-нибудь крупного треста или комбината в этой области.

И если теперь они начнут и начинают уже создаваться, — Карело-Мурманский край, в котором помимо всего прочего, имеются еще мировые залежи фосфоритов в Хибинах, имеет все шансы и права стать одним из первых районов, где будет положено начало советской промышленности минерального сырья.

И разве всего этого недостаточно, чтобы серьезно поставить вопрос об организации, о каком-то минимальном устройстве того естественного водного пути, которым наделила природа удивительный этот край, и по которому, буквально заваливая его грузами, двинутся отсюда не сегодня завтра его несметные богатства в страну? Разве этого недостаточно, чтобы на смену романтике закатов и соловьев пришла романтика созиданья, романтика техники и экономики на его поэтических озерах?

VII

Подсека.— Грешник дантевского ада.— Це а хлеба.— Средневековье.—Традиции и « еувязки».— Вешкелиц .— Колхоз «Новая Жизнь».— Богда ов.— «Студенты».— Как куется жизнь. — Ясли.— Ресторан в деревне.

Мы ехали, пробираясь сквозь напоенные весенним ароматом леса, огибая одно за другим застывшие, спокойные зеркальные озера, минуя одну за другие бурные, порожистые речки—по карельскому тракту, к финской границе. Был чудесный, солнечный июньский день, такой великолепный день, какие выдаются только на севере, в награду за долгую, сумеречную и тоскливую шестимесячную полярную зиму и ночь; торжество оживающей природы ощущается здесь с какой-то особенной радостью и остротой. Одуряюще пахло хвоей, щебетали и птицы в чаще, весело шумела вода на порогах придорожных речушек, и согретый и рассвеченный солнечными лучами воздух, прозрачный и чистый, струился меж деревьев, впитывая их пряные ароматы.

Мы проехали деревню Алекка, круто свернули влево, взлетели с разбега на пригорок—и перед нами открылось во всю свою ширь залитое полуденным северным солнцем, изумительное зеленоватое Сямозеро, которое здесь называют морем. Одинокая рыбачья лодочка мирно маячила вдали, и в тишине, окутавшей берега, было слышно, как там шуршат снасти, подтягиваемые на борт; у прибрежных камней, вздымая каскады дрожащих, переливающих цветами радуги брызг, плескалась рыба...

Неожиданно шофер круто затормозил машину. На нас пахнуло гарью. Слева, над пригорком, клубами поднимался над перелеском дым. Может быть, это, забыв всякую осторожность, пастухи разложили, спасаясь от комаров, костер в лесу, настолько прогретом солнцем, что, казалось, стволы столетних деревьев должны быть теплы на-ощупь? Может быть, это начинался лесной пожар, который если во-время не остановит его, чудовищным огнем сметает здесь сотни гектаров превосходного и бесценного строевого леса в течение нескольких часов? Мы встали и, перелезши через дорожную изгородь и увязая в чавкающей болотной грязи, взобрались на пригорок.

Неожиданное и странное зрелище представилось моим глазам, глазам человека, впервые попавшего в этот край с его необычайно пестрой и противоречивой бытовой и хозяйственной штриховкой. На пригорке горел, заволакивая перелесок удушливым черным дымом и накаляя воздух и землю на сто метров вокруг, огромный, как-то особенно сложенный, вытянутый длинной цепочкой,

костер. Трое полураздетых людей передвигали его обгорелыми шестами, по мере того как огонь уничтожал скудную растительность земли, все дальше, по склону бугра. Казалось, они задались дикой мыслью спалить землю. Все трое — и женщина и двое мужчин—были в лаптях и в одном холщевом исподнем белье. По измученным лицам их, покрытым слоем сажи, ручьями стекал, смешиваясь с грязью, пот; глаза их были красны и воспалены, волосы на головах и в бородах местами обгорели; они кашляли беспрерывно, задыхаясь в дыму. На них жалко и страшно было смотреть; они выглядели, как первобытные лесные дикари, или грешники из картин дантовского ада.

Мы подошли, с опаской шагая по горячей золе, ближе и поздоровались. Продолжая ворошить и передвигать шестами огонь по бугру, люди отвечали, улыбаясь, с той радушной приветливостью, какая составляет одну из приятнейших черт карельского народа. Мучительная обстановка работы тяготила их, очевидно, гораздо меньше, чем это можно было предположить со стороны. Обливаясь потом и задыхаясь в дыму, они весело посмеивались в то же время и шутили добродушно, глядя как мы, по-журавлиному поднимая ноги, обходим, щадя подошвы городских башмаков, кучки тлеющих углей. Видимо, здесь брала свое привычка, выработанная в поколениях.

Впервые я увидел на практике так называемое подсечное хозяйство, о котором до сих пор приходилось только читать в книгах. На пригорке перед нами был один из участков такого хозяйства, как раз подготовляемый к посеву.

Год тому назад это место было еще покрыто густым лиственным лесом. Потом лес вырубили до основания, до последнего сучка, и оставили сваленные стволы и выкорчеванные пни зимовать и просыхать до следующего лета. Теперь их жгли, шестами передвигая по участку огромный, сложенный из них костер и накопляя на будущем поле золу, которая является единственным видом удобрения на подсечной земле. От того, насколько равномерно и густо ляжет ее слой, целиком зависел будущий урожай. Серая зола покрывала горячую землю, она поскрипывала под ногами и шевелилась, точно живая, под порывами легкого влажного ветерка с озера. Каждый раз при этом люди с шестами, останавливая свой размеренный шаг, замирали на секунду и, защищая ладонями глаза, пристально смотрели в сторону озера, точно навстречу какой-то незримой, надвигающейся опасности. Они работали не спеша, но в их рассчитанных движеньях чувствовалась тревога и напряженность. Видимо, они дорожили каждой минутой.

Нам объяснили, в чем дело. Если бы ветер, раздувающий огонь, упал сейчас и костер погас — работу придется прервать посередине, не окончив сжигания и, главное, не перепахав золу в земле,— прервать до нового сухого и ясного дня. А кто

знает, кто скажет, долго ли удержится погода и не хлынет ли завтра проливной дождь, который в несколько часов без остатка смоет, превратив ее в жидкую, черную грязь, всю золу с пригорка? Если же ветер посвежел бы сейчас — он поднимет и шутя развеет легкий зольный порошок во все стороны на сотню метров вокруг. Поди, собирай потом с лукошком бесценные его крупицы по болотам и лескам! В обоих случаях весь тягчайший предварительный крестьянский труд—и рубка и корчевка и сжигание—все пропадает зря; земля, с которой случайным ливнем или случайным порывом сильного ветра смоет или сдует удобрительную золу, окажется не в состоянии родить. На ней не взойдут даже сорняки. В нее никто не рискнет уже бросить семена, и участок, над которым сплошь и рядом на протяжении нескольких недель бьется, не покладая рук, чтобы освоить его, целая крестьянская семья, участок, где каждая пядь земли в буквальном смысле этого слова пропитана бывает потом человека, участок, которому оставалось до пахоты и посева всего два-три дня—приходится бросать тогда, чтобы, наметив новый, терпеливо начать всю адскую работу сызнова...

И люди на подсеке, равномерно работая шестами и поминутно отирая рукавами насквозь мокрых рубах пот, струившийся по лицам, со страхом, с мольбой и с надеждой смотрели на озеро, над которым ветер гнал с востока легкие перистые

тучки по небу. К счастью или к несчастью выбран нынешний день для костра? Удастся ли хоть бороной пройтись, заделав, сохранив, спрятав золу, по новой, в таких муках освоенной земле? Или свежающий ветер безжалостно сметет у них на глазах все, что было достигнуто ценой изнурительного, ужасного месячного труда — и участок, на котором они мысленно видели уже зеленые, веселые всходы, в несколько минут превращен будет в безрадостную, черную пустошь, в могилу их стараний, всех их хозяйственных надежд?

Я стоял, смотрел и думал: как ужасна, как бессмысленна, как оскорбительна эта игра слепого случая, эта рабская зависимость и покорность и бессилие человека, способного воздвигать Днепрострой, передавать портреты по радио и пересекать океаны на самолетах!

Подсечный участок, на котором мы стояли, занимал, примерно, одну пятую гектара. Крестьянская семья из трех человек потратила шесть полных рабочих дней, чтобы срубить на нем лес и выкорчевать пни: еще шесть дней занял процесс сжигания; три дня должна была отнять пахота, и не меньше пяти дней они предполагали ставить изгородь, защищающую посев от скота, который, с бубенцами на шее, свободно бродит здесь вокруг деревень по болотам и лесам, уходя подчас на двадцать и на тридцать километров от дома. Стало быть, они затратили втроем, чтобы освоить и засеять этот крохотный участок земли, двадцать ра-

бочих дней; в переводе на одного человека получилось, что гектар требует триста полных рабочих дней. Почти год! Мы бегло подсчитали некоторые цифры: выходило, что 16 кгр. хлеба с подсеки при самой скромной расценке на рабочие руобходится крестьянину не меньше двенадцати рублей. Эта чудовищная цифра в десятки раз превышала нормальную себестоимость крестьянского хлеба в средней полосе Союза!.

При той массе труда, которого требует освоение участков, карликовые урожаи подсечных хозяйств выглядят особенно убого. Первый год гектар дает около 3 тонн репы; второй—4—5 центнеров овса и третий—в лучшем случае 2½ центнера ржи; в худшем, быстро потеряв свои плодоносные свойства, земля не родит уже ничего. Больше трех урожаев с подсечного поля не собирают; на четвертый год истощенную землю, в которую вложено было столько тяжкого труда, бросают и идут вырубать лес и добывать золу в кострах на новый участок.

Дикая и хищническая эта система, истребляющая леса истязающая землю и людей, уже начинает, правда, отмирать сейчас; но все же подсеками, мрачная обстановка которых воскрешает в памяти картины далеких средних веков, занято еще около семи процентов всей посевной площади Карелии.. Во всяком случае, точно так же, обливаясь горячим потом и обжигая кожу на лицах и на руках, точно такими же обгорелыми шестами, с тем же точно выражением надежды, страха и покорности в глазах—ворошили на этих пригорках огонь и золу, вероятно, и сто и двести лет тому назад, и при Петре, и при Екатерине, и при Державине, первом сановном губернаторе тогдашнего олонецкого края. Казалось поистине непостижимым, как могло пройти это варварство, сохранившись во всей своей первобытности, сквозь строй последних десятилетий, благополучно пережив и годы революции и полосу послевоенного стремительного экономического роста и строительства, охватившего все звенья хозяйства и все, самые глухие и затерянные уголки страны? В чем находило и находит оно свое оправдание, свое право на жизнь? Как это получается, что подсека с ее чудовищными условиями труда и нищенскими доходами, продолжает все-таки в известной мере держать в плену карельское крестьянство?

Избыток рабочей силы, вконец обесценивший труд? Но об этом смешно говорить у нас вообще, а в Карелии, которая ежегодно принуждена, развивая свое лесное хозяйство, ввозить десятки тысяч лесорубов из центральных областей, в частности. Там на учете каждый человек, способный держать топор и лопату в руках. Отсутствие местных промыслов, на заработки с которых можно было бы жить покупным хлебом? Но ведь несметные и совершенно нетронутые природные богатства карело-мурманского севера веками ждут

только, чтобы пришел и приложил к ним руку человек! Недостаток скота, дающего навозное удобрение? Невозможность расширять иными методами площадь посевов? Но ведь, так или иначе, Карелия, страна лесов и озер, живет преимущественно ввозным хлебом. Ее хозяйственное развитие идет и должно итти по линии промышленной, а не по линии сельского хозяйства. Ее будущее— в фабриках и заводах, а не в клочках подсечных посевов. И кто пошел бы на подсечную каторгу, если бы была уверенность, что хватит привозного хлеба и хватит денег, заработанных на промыслах, чтобы покупать этот хлеб? Весь вопрос, стало быть, в организации этих промыслов и в завозе хлеба, которым мы достаточно богаты, чтобы обеспечить им район с такими промышленными возможностями и таким сказочным будущим. Это очень быстро убьет подсеку и самую память о ней. Она демонстрирует только косность, а не хозяйственную неизбежность; она только вопрос неувязок, а не глубокий экономический вопрос; она влачит свои дни лишь потому, что жизнь края не до конца охвачена звеньями единого хозяйственного плана.

Так мы перебирали, разговаривая, одну за другой, причины, вследствие которых сохраняется это средневековье в советском быту и хозяйстве; их были десятки, но ни одной неустранимой среди них не нашлось...

Когда мы прощались с людьми на подсеке, старик снял шапку. Мокрая его лысина казалась белой, как бумага, в сравнении с обгорелым, красным, воспаленным лицом; она походила на театральный, плохо пригнанный парик. Работая шестом, он прислушивался ко всему, о чем мы говорили, и теперь сказал, прощаясь и подавая горячую, покрытую мелкими волдырями руку:

— Отец мой двадцать лет с шестом маялся. Плакал, а маялся. Слезки не дружки, а разве без слез проживешь? Где она, тая красная жизнь?

И вот мы проехали еще пятнадцать километров, мелькнули перед нами первые плетни, первые изгороди и первые бревенчатые дома деревеньки Вешкелицы,—и мы увидели,—как тягостный сон, как живой призрак дореформенного рабства оставив позади подсеку с ее кострами — «где она, тая красная жизнь».

Колхоз «Новая жизнь» был создан в Вешкелицах сравнительно недавно, всего год тому назад. Его хозяйство переживало еще период той сложной ломки, той коренной перестройки, которые неизбежно сопровождают организацию новых жизненных форм. Ему нечем еще было особенно похвастать, нечем еще было особенно демонстрировать огромные, неисчислимые преимущества организованного, коллективного труда.

Старые законы и методы, старые традиции и представления, в плену которых десятки лет жила до этого деревня, трещали уже, правда, по всем швам. Штрихи, крупицы и элементы нового яв-

ственно ощущались во всем, когда мы проходили, присматриваясь, по улицам деревни. Убогие, допотопные деревянные сошки, вчера еще составлявшие основной хозяйственный инвентарь вешкелицких крестьян,—за ненадобностью сваленные в кучу, доживали, догнивали уже сегодня остатки своих безрадостных дней в «братской могиле» на околице. На смену им по полям ползли, сияя свежей зеленой окраской, плуги Сакка. У пожарного сарая, под навесом, стояла большая сенокосилка; аккуратно смазанные маслом зубцы ее блестели, точно покрытые слоем никеля или серебра. Где-то у амбаров работал трактор; ровный, сильный гул мотора, эхом отдаваясь в перелесках, разрывал привычную, сонную тишину деревни, и лошаденки, жевавшие сено во дворах, поминутно поднимали, прислушиваясь к этим странным, новым звукам, головы и тревожно пряли ушами. В маленьком сарайчике близ общественного скотного двора женщины в белых фартуках поверх обычных сарафанов сцеживали сквозь марлю молоко вечернего удоя, в сарайчике стояли сепаратор и маслобойка и на стене висели отпечатанные на машинке правила внутреннего распорядка и ухода за скотом. Все это было необычно, конечно, и с очевидностью показывало, как рушится, дрогнув, привычный, вековой уклад серой и нищей деревенской жизни; это было даже поразительно рядом с той подсекой, которую мы видели и которой ужасались всего полчаса тому назад.

Нам вспоминались костры и пепелище, грязная, черная от сажи, вся пропитанная потом рубашка и обгорелые лапти на ногах старика, его воспаленные, слезящиеся глаза, его покрытые волдырями руки. Контраст был слишком резок. Мы проехали всего несколько километров, но как будто попали из одной эпохи в другую.

При всем том чувствовалось, однако, что деревня делает, вырываясь из старых пут, только первые шаги. Запашка шла трактором и плугами, но пахали еще по старинке, местами очень мелко и кое-как, как привыкли пахать по необходимости, щадя животину. С осени были уничтожены межи и увеличен в полтора раза запашной клин, но урожай с гектара почти не поднялся и остался на том убогом уровне, которого держались, работая на «конном хребте», и деревенские единоличники. Скот, сведенный со дворов, стоял в общественном хлеву; но там было еще достаточно грязно, не было ни подстилок, ни хороших кормушек, сильные корма только-только еще были пущены в ход, и кривая удоев шла вверх медленным, черепашьим шагом. Колхоза, в настоящем в строгом смысле этого слова, колхоза, как образцового общественного хозяйства, еще не было, был только фундамент колхоза, на котором медленно, в муках зарождались и росли леса новой, будущей постройки. По всему чувствовалось, что это крепкий фундамент, и через два-три года люди, сложившие первые кирпичи этой построй-

ки, забьют, добравшись доверху, и последние гвозди в стропилах ее венца. Это был верный путь, по которому деревня выходила из грязных, темных закоулков на широкую, сверкающую дорогу настоящей жизни; но на этом пути был сделан только первый шаг, и новые хозяйственные формы только-только начинали еще отстаиваться, завоевывая и утверждая свои преимущества, свое право на жизнь.

Вероятно, именно поэтому меня не поразил особенно ни трактор, ни сакковские плуги на полях, ни марля над сепаратором, хотя после подсеки и было такое ощущение, что мы попали в культурнейший уголок края. А этот культурнейший уголок — была крохотная, непроезжая деревенька у финской границы, до которой даже на быстроходном «Биюке» мы ехали от города, от Петрозаводска, добрых восемь часов! Но в экономике колхоза, за исключением перспективы, с несомненностью открывавшейся впереди, не было еще почти ничего, что резко выдвигало бы его уже сейчас над уровнем обычного крестьянского хозяйства нашей средней полосы, хотя бы.

Меня поразило другое—люди, отношения, быт. И внутреннее их существо, и формы, и детали, из которых складывались эти отношения, и быт, насквозь пропитанный уже, казалось, новыми идеями, новым духом своего времени, все это было, действительно, удивительно для глухой, заброшенной деревни, и совершенно не вязалось с

обычным, ходячим, старым представлением об укладе и культурном уровне крестьянской жизни.

Мы познакомились с организатором и председателем колхоза, Богдановым. Бедняк и демобилизованный красноармеец, фронтовик, с винтовкой в руках прошедший сквозь всю мучительную и героическую эпопею гражданской войны,— человек этот был организатором и душой колхоза. Больше всего он поразил нас, кажется, тем, что положительно не умел смеяться. Даже когда он улыбался, чувствовалось, что улыбается он одними губами и только из приличия; то, что называется душой, в улыбке не участвовало. У него было самое обыкновенное скуластое русское лицо со вздернутым носом и белесыми бровями; но странное выражение строгой замкнутости, какой-то постоянной, напряженной, внутренней сосредоточенности застыло на этом лице и светилось в его глазах. Казалось, человек этот, однажды начав думать, уже не в состоянии остановиться; какая-то большая мысль целиком завладела, как будто, его сознанием и всем его существом, и все окружающее, что было за пределами этой мысли, воспринималось им почти механически, не вызывая ни чувства, ни интереса. Две параллельных глубоких, как шрамы, складки, прорезали его лоб и целая сеть морщин сложилась и сурово застыла у рта. Как ни казалось на первый взгляд заурядным его лицо—это было лицо фанатика и человека, который много пережил, много страдал, оже-

сточился и глубоко ушел, замкнувшись, в себя. Он был на редкость молчалив и разговориться с ним нам так и не удалось. Но потом нам рассказали, сколько перенес этот человек, покуда ему удалось организовать колхоз в своих Вешкелицах, и идея — та идея, фанатиком которой он, действительно, был—получила свое осуществление. Эта мысль, мысль о новой жизни, на широкую дорогу которой можно и нужно выводить деревню, родилась и крепко засела в его сознании очень давно, еще тогда, когда во вшах, в грязи, он замерзал в блиндажах под Перекопом, еще тогда, когда с кавалерийской бригадой он метался под Орлом, ликвидируя страшные мамонтовские рейды. Мысль была смутная, путанная, но горячая. На острие винтовочного штыка он пронес ее сквозь все фронты гражданской войны в сонный покой заброшенной своей, глухой деревеньки.

Постепенно она отточилась, отшлифовалась, налилась конкретным содержанием, приняла реальные контуры. Тогда он принялся за дело. Речь его, когда он впервые заговорил о колхозе в Вешкелицах, произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Его освистали. Он выслушал свист и ругань, дал успокоиться крикунам и поднял вопрос вторично. За годы войны он научился выдержке и понимал неизбежность суровой борьбы. Он заговорил вторично—и несколько бедняков, о которых в деревне говорили, что у них не то что

скота, но даже и жен нету, поддержали его; это было ядро будущего колхоза. Но деревня в целом яростно обрушилась на него, готовая побить его камнями. Над ним издевались, глумились, всячески травили его, угрожали ему расправой и смертью. То у него ночью занималась вдруг огнем жалкая скирда сена во дворе его лачуги, то издыхала вдруг собака, которой ссвали хлебный мякиш с гвоздями внутри, то, когда он проходил вечером по улицам, звучал вдруг в трех шагах от него предательский выстрел за плетнем, и слышался топот чьих-то убегающих ног... Он почти не спал по ночам, он таиком уходил из дома, когда наступали сумерки, и прятался в скирдах на полях; и даже днем, показываясь на улицу, он ощупывал наган в кармане шинели. Бабы плевались, когда он проходил, ребятишки тюкали ему вслед и швыряли грязью. Но он твердо знал свою дорогу, и он достаточно много видел и достаточно много понял за эти годы борьбы на фронтах, чтобы плевками или выстрелами из обреза его можно было сбить с нее; стиснув зубы, он, не останавливаясь, шел вперед, к цели, которая блистала перед ним, как далекий, обещающий радость и отдых огонь перед ночным путником. Он шел вперед и только улыбался все реже и реже, только все глубже и глубже прорезались угрюмые морщины у него на лбу и вокруг рта и все чаще и чаще светилось так поразившее нас выражение огромной внутренней сосредоточенности в его

глазах. Один за другим зараженные огнем, которым он горел, поверив горячим словам, которые находились у него для каждого, кто хотел его слушать, убежденные доводами, которых всего было у него столько, сколько зерен в головке мака — один за другим примыкали к нему бедняки. Это были преимущественно почти нищие люди, без кола и без двора за душой. Они ничего не приносили с собой в хозяйство, в колхоз, кроме собственных рук и ненависти к той тоскливой жизни, которой они жили до сих пор; но эти руки умели и хотели работать и эта ненависть легко переключалась в подлинную жажду строить, бороться и победить. И колхоз зародился, колхоз рос на глазах, и очень скоро заставил признать себя и считаться с собой всех, кто остался, отгородившись от жизни, в одиночку хозяйничать на старых дедовских межах. Через все преграды, которыми усеян был его тяжелый путь, пришел все-таки этот человек к цели, к огню, который светил ему впереди.

К тому времени, когда нам довелось побывать в Вешкелицах, в колхоз вступило уже 43 хозяйства. Правда, они составляли еще только треть деревни; правда, середняки в массе занимали еще, присматриваясь, выжидательную позицию; правда, темные деревенские элементы продолжали еще злобствовать, распуская о «коммуне» всяческие вздорные слухи. Но им приходилось уже скорее обороняться, нежели наступать. «Коммунка»

была уже силой, тягаться с которой становилось все труднее, все бессмысленней и опасней с каждым днем. Ее жизненность, ее хозяйственные перспективы были очевидны, ее положение становилось все прочней и прочней и ее влияние росло в деревне буквально на глазах...

Мы шли деревенскими закоулками на околицу, где заложен был и отстраивался новый скотный двор колхоза. Слышно было, как стучали топоры и уже издали чудесно пахло свежим лесом. Богданов на ходу коротко рассказывал нам о хозяйственных планах наступавшей осени. Я слушал его отрывистую, сжатую, рубленую речь, смотрел на морщины, испещрявшие его лицо, ловил его сосредоточенный, угрюмый взгляд — и думал: только революция могла родить людей с такой волей, с такой верой в свое дело, людей, которые с таким железным упорством умеют шагать к цели! И еще я думал, глядя на этого человека, что совсем не так легка роль проводника и организатора новых идей в деревне, как это выглядит часто на бумаге.

Богданов на полуслове оборвал вдруг фразу и сказал:

— А вот, познакомьтесь: наш луговод.

Луговод? Луговод в Вешкелицах? Специальный луговод в колхозе сорока трех полунищих деревенских бедняков?

— А вот и полевод, — не давая опомниться, опять представил Богданов.

Подошли и полевод, и животновод, и заведующий молочным хозяйством. Мы с любопытством присматривались к этим людям. Нет, конечно, это не были специалисты в привычном понимании этого слова, в привычном нашем представлении— специалисты с дипломами и со значками или следами от значков на фуражках. Это были те же вчерашние деревенские батраки, те же вчерашние демобилизованные красноармейцы, прошедшие в городе скромные курсы подготовки колхозных работников. Им сообщены были только начатки знаний, необходимых для того, чтобы внести первичные элементы организации в новое общественное хозяйство. Но они были прекрасными практиками своего дела, и эти крохи знаний в их распоряжении значили не меньше, вероятно, чем полные курсы вузовской премудрости в руках человека, усвоившего теорию, но лишенного опыта. Для них не существовало абстракций в том скудном запасе сведений, которым их вооружили наспех на курсах: каждый абзац теории, каждую крупицу отвлеченного знания они тотчас же переносили, связывая их с живой жизнью, на поля, на огороды, в коровники и конюшни. И этот минимум сведений, который не имел, казалось, даже грошевой ценности, оказался целым богатством в их руках. Кроме того, им был дан какой то общий толчок, и, вернувшись с курсов, они сами засели уже за книги, вступили в переписку с бывшими преподавателями, с карельскими агрономами и опытными станциями—и в несколько месяцев вдвое, втрое увеличили запас знаний и чрезвычайно расширили свой кругозор. В деревне смеялись над ними первое время, и даже внутри самого колхоза им пришлось начать и вести, преодолевая большое сопротивление, упорную борьбу за новые методы, за семиполье, за правильную вспашку, удой, пастьбу, сортировку и сев семян. Эта борьба тоже не закончилась еще в Вешкелилицах, когда мы там были; но основная толща старых понятий, традиции и суеверии была уже пробита. Если кое-где и пахали еще мелко и небрежно, то находили этому, оправдываясь, десятки всяческих причин, но никто не говорил уже, что именно этим способом и надо пахать, потому что так работали отцы и деды; если и была грязь на скотном дворе, то ссылались на то, что не хватает подстилки, но никто не смеялся уже, когда говорилось, что скотину надо мыть и чистить скребницами. «Студенты», как в насмешку окрестили было вначале колхозных курсантов в деревне, недаром работали, не покладая рук, почти год, вкладывая в эту работу все свои способности и знания, всю кипучую молодую энергию и преданную, горячую любовь к делу, какая в них жила. Они агитировали и словом и примером, они уговаривали и льстили, где было нужно, и давили, где было можно, авторитетом книг, они просили, доказывали, требовали и бурно воевали, организуя общественное мнение и большинство, на каж-

дом собрании. Бывало, что, увидев негодную вспашку, они сами, закончив рабочий день, усталые, измученные, под общими беззлобными, но скептическими улыбками, становились перепахивать поле. Бывало, что, чуть не плача, упрашивали они переворошить лишний раз сено на луговом покосе. Бывало, что чуть не силой отбивали они у крестьян больных лошадей, которых те начинали по старинке, чтобы не «захолонули печенья», безжалостно гонять на корде, вместо того, чтобы поставить на покой в стойло. Это были не прежние, не обычные агрономы. Те очень много знали, но только проездом давали равнодушные свои и случайные советы. Эти знали очень мало, но они всеми фибрами своего существа связаны были с деревней, они целиком жили ее интересами и нуждами, они отдавали ей все, что имели и могли отдать, и разделяли, участвуя помощью, словом и делом в каждом ее дне, все ее горести и радости. Инстинктивно деревня, конечно, чувствовала это. Кроме того, они оказывались обычно правы почти во всех практических спорах и вопросах: это создавало им постепенно авторитет. К ним начали уже прислушиваться, к ним водили уже, случалось, в важных случаях скот из деревни для осмотра, приносили проверить семена и с ними приходили советоваться даже старые, опытные хозяева со стороны. Бой еще продолжался, но было уже очевидно, что они выйдут победителями, тоже добьются своего и впервые сумеют подвести под общественное деревенское хозяйство, сломав прогнившие столетние, старые устои, фундамент новых, пусть примитивных, но точных научных знаний.

Опять мы шли и разговаривали, опять я вглядывался в загорелые, здоровые лица людей, смотрел, как шагают они широко, по-деревенски, размахивая большими, мускулистыми руками и твердо ступая крепкими и сильными, обутыми в рваные, заплатанные сапоги, ногами — смотрел и думал снова: какая огромная потенциальная, здоровая силища заложена в них, в том классе, представителями которого они были, если им удалось так перетряхнуть за десять месяцев все, что складывалось столетиями!

Богданов сказал, когда, осмотрев строящийся скотный двор, мы вышли снова на улицу:

— Теперь, если пожелаете, можно пройти в ясли. Посмотрите на наших ребят.

Конечно, мы пожелали.

Ясли размещены были в небольшом веселом, утопавшем в зелени домике на площади. Помещение было простое и скромное. Но, право же, мне случалось бывать во многих подобных учреждениях в городах—и нигде я не видел, кажется, такого образцового порядка, такой опрятности и уюта. Печать исключительной, трогательной заботливости любви и внимания лежала здесь решительно на всем, в этом уголке нового, впервые организующегося быта. Комнаты были отлично

проветрены и в доме пахло чистотой. Аккуратные кроватки правильной шеренгой стояли вдоль стены; они были накрыты глаженными белыми одеялами. В сетках и в ящиках лежали игрушки; «право собственности» на них было отменено, и они перераспределялись среди ребят каждый день заново. На стене, в углу, висел аптечный шкафик, на склянках белели ровные наклейки с русскими, тщательно выведенными надписями. В кухне мыли посуду; нестерпимо сверкали начищенные кастрюли. Персонал весь щеголял в опрятных серых халатиках; конечно, «персонал» состоял из тех же колхозниц, в очередь, по нарядам несших работу в яслях. Колхозницей была и заведующая, прошедшая специальную школу подготовки в городе. Здесь все целиком построено было на самообслуживании. И во всем чувствовалось, что работа, которую делают здесь в очередь эти люди, является для них не служебной обязанностью, но своим, близким делом, в качестве и в успехе которого они заинтересованы всем своим существом.

Мы остановились у доски, на которой кнопками приколоты были об'явления.

— Менюй, — сказала нянька, провожавшая нас по комнатам.

Она не умела правильно сказать это слово, но в голосе ее звучала гордость. Действительно, было чем гордиться. В меню на этот день значились по порядку — манная и рисовая кашки с изюмом, бутерброды с маслом, рыбный бульон, фрикадельки

и компот из сушеных абрикосов. Манная кашка в Вешкелицах! Абрикосовый компот в деревушке, которая не обозначена даже на трехверстной карте, вероятно, и до которой двести километров от ближайшего города! В примечании было сказано, что детское питание ведется строго по нормам, выработанным Наркомздравом. Мы попробовали бульон и фрикадельки; положительно ничего нельзя было бы возразить, если бы такими блюдами кормили нас в московских заведениях Нарпита! Очередная кухарка стояла, наблюдая, в дверях и улыбалась широко, довольно и горделиво, отирая чистым платком пот с лица. Все это было удивительно; трудно было даже как-то представить себе, что все это видишь наяву, в действительной жизни, а не в какой-нибудь агитпередвижке кино. Дети всего колхоза сносятся сюда с раннего утра на весь день; их купают, переодевают во все чистое, их кормят до шести раз в день, следят, чтобы они спали в «мертвые часы», играют с ними, лечат их, если они прихварывают, и непрестанно и тщательно наблюдают за ними, организуя, по мере уменья и возможностей, просыпающееся детское сознание. Значит, конец грязным тряпкам и люлькам, в которых до рвоты закачивают по хатам детишек в деревнях, пичкая их, чтобы не кричали, хлебным мякишем, смоченным в водке? Конец квасному питанию, знахарству, колотушкам, грыжам, золотухе, рахиту? В правилах внутреннего распорядка мы прочли, что дети не меньше

шести часов в день проводят на воздухе, что им не дают есть, не помыв их рук, что дежурным не рекомендуется заходить без халатов в комнаты и категорически воспрещается при каких бы то ни было обстоятельствах наказывать детей и повышать голос при обращении с ними. «Надо в каждом затруднительном случае, — читали мы в правилах, — советоваться с заведующей и товарищами, но ни в коем случае не подвергать насилию личность ребенка». Личность ребенка! Какие понятия стали доступны деревне, каким она заговорила языком! Пусть эти правила не всегда и не во всем исполнялись даже, — они поражали уже тем, что висели на стене этого замечательного домика в Вешкелицах!

Мы спросили, на какие средства организованы и содержатся ясли. Оказалось, что на содержание детей и стариков отчисляется двадцать процентов заработной платы колхозников. В этом был уже явственный признак высшего социального строя, явственный признак новой, нарождающейся культуры и культурности. Цивилизованные наши соседи, те же образцовые с хозяйственной стороны, богатые финские деревни по ту сторону близкой границы — могли бы они похвалиться чем-нибудь подобным? А ведь это был колхоз, состоявший исключительно из бедняков и батраков, неимущих, полунищих людей! Нет, положительно, все это способно было ошеломить самого невозмутимого человека!

Перед от'ездом мы закусили в общественной столовой колхоза. Это тоже было исключительно для деревни явление; колхозники в огромном большинстве давно уже бросили готовить дома, и женщины, сбросив тяжкое бремя кухонных забот, по целым месяцам не затопляли даже печей. Все семьями питались в этой столовой, организованной и обслуживаемой на тех ме началах, что и ясли. Полный стол обходился около 80 копеек в день на человека. Конечно, это было недешево, но отлично, зато, по качеству и обилию. Обеды полагались рыбные или мясные, обязательно со сладким и обязательно с чаем; горячие завтраки и ужины мало чем уступали им по сытности. Резаный хлеб горами лежал на подносах, и его можно было брать и есть, сколько угодно. Нельзя сказать, чтобы было особенно чисто и особенно вкусно готовилось в этой столовой, но все же на столах лежали новенькие, блестящие клеенки, перед едой стало обязательным мыть руки в умывальной, каждому полагался отдельный полный прибор, за столом было запрещено курить, во время обеда включался обычно громкоговоритель, и принимались концерты из далеких городов. Ресторан с музыкой в деревне, в десяти километрах от которой пылали еще, воскрешая в памяти картины петровских времен, мрачные костры на подсеках! Можно ли было не изумиться?

Потянулись сюда, между прочим, присмотревшись и кое-что подсчитав, и «сторонние» едино-

личники, не вошедшие еще в колхоз. Их не прогнали, конечно, и многие из них тоже перестали стряпать дома, целиком перейдя на общественное питание. Столовая оказалась отличным орудием агитации; с особой наглядностью здесь сказывались все преимущества, выгоды и удобства коллективного, организованного труда и быта.

Мы уезжали из колхоза под вечер, когда заходящее солнце заливало уже золотом опушки тихих, засыпающих лесов. Богданов проводил нас до околицы, и мы простились. Рукопожатие у него было крепкое, какое бывает у прямых и мужественных людей. В глазах у него теплилось все то же выражение напряженной сосредоточенности. Опять он думал о чем-то.

Когда мы тронулись, один из наших спутников, карельский товарищ, сказал, выражая общую нашу мысль и ощущение:

— Смотришь вот и думаешь: какими гигантскими шагами, какими прыжками шагает жизнь! Столько ломается старого и столько создается нового на обломках — голова кругом пойти может! Вот тебе и Вешкелицы! За десять месяцев сделано столько, что в обычное время и за десять лет не сделать! Конечно, ни за что не сделать! В какую эпоху, скажите, кроме нашей революции, в какой стране, кроме нашей страны, возможны такие вещи?

VIII

За полярный круг. — «Дикарь». — Без дорог. — «Кережка». Проблема оленя. — На ягельных полях. — «Ушепятка». — Традиции. — Ланки. — О пастухах. — Илья Васильевич Ледков. — Волки, которых кормят ветчиной. — Наш экспорт. — Почему же у нас нет окороков? — Пионеры промышленного оленеводства.

По дороге к Мурманску, за станцией Чупа мы пересекли полярный круг, отмеченный на железнодорожном полотне каменным обелиском. Обелиск остался позади, он растаял во мгле серых сумерков, заменяющих летом короткую, почти незаметную ночь на Мурмане. Они окутывали и небо, на котором догорала мягким отсветом вечерняя заря, и землю, и застывшие озера, и перелески, мелькавшие в окнах вагона. Заснувшая безмолвная тундра казалась совсем безлюдной и необитаемой в эти часы торжественного вечернего покоя. Ни один звук не доносился из перелесков, ни одного следа не видно было на мхах, пестрым мягким ковром устилавших землю. Точно это был первозданный край, где не пробудилось еще дыхание жизни, где ни разу не ступала еще нога зверя и человека.

Неожиданно, едва мы миновали раз'езд Охтоканду, на опушке мелькнуло какое-то существо.

По рогам, горделивой, прекрасной короной украшавшим голову, мы узнали оленя. Олень вынырнул из чащи и, испуганный грохотом поезда, помчался по просеке, параллельно нам. Он не бежал, а несся, закинув голову, прижав рога к спине и едва касаясь земли тонкими, мускулистыми и крепкими, как сталь, ногами; моментами казалось, что он летит по воздуху. Поезд шел быстро, и гаусгельтер в нашем вагоне показывал скорость сорок километров в час. Но олень бежал еще быстрее, обгоняя вагон за вагоном и все больше приближаясь к паровозу, к источнику безумного своего страха; он бежал сердцем, а не ногами, как бегут чистокровные лошади на финише. Это было изумительное зрелище, — и тут я впервые поверил тому, что мне рассказывали перед этим о ежегодных оленьих бегах в Мурманске, когда оленьи упряжки в санях с седоками при очень трудной уличной езде, с поворотами и препятствиями, проходят сплошь и рядом дистанцию в три километра в пять минут. Это—скорость автомобиля; это—рекорд, которого достигают далеко не все призеры на столичных ипподромах. Лучшая лошадь при таком бешеном беге выдыхается, выбивается из сил через три-четыре минуты; но олень, если его не задержать, будет бежать и десять, и двадцать, и тридцать километров, будет бежать до тех пор, покуда, задохнувшись, не упадет замертво, покуда не разорвется сердце в груди! С жалостью следили мы за мчавшимся животным из окна вагона; олень достиг паровоза и вдруг остановился сразу, как вкопанный, ошеломленный стуком и ревом гудка, который нарочно дал машинист. На секунду он замер, высоко закинув голову, кося прекрасными, умными глазами и тяжело и часто вздымая мокрые от пота бока, потом метнулся, раздирая ветви рогами, в сторону, в перелесок и исчез в чаще...

Это был дикий северный олень, редкий и случайный гость обжитых мест на Мурмане. Когда-то, лет двадцать тому назад, такие «дикари» ходили на Кольском полуострове стадами, насчитывавшими нередко сотни и даже тысячи голов, — и охотники, и лопари, которые выезжали ловить оленей для домашних стад, обычно приводили их за раз по тридцать, по сорок штук. Но теперь, распуганные поездами, машинами и людьми, пядь за пядью отвоевывающими просторы тундр, дикие олени ушли в самые глухие, в самые далекие и недосягаемые пока для человека места края, и только одиночки, случайно отбиваясь от стад, появляются изредка в районах станций, сел и городишек. Но домашние, прирученные, клеименые олени кучами бродят и теперь повсюду в тундрах Мурмана.

Лошадей здесь почти не держат, потому что даже финские и канадские, наиболее выносливые лошади не в состоянии приспособиться к условиям местных дорог, точнее — местного абсолютного бездорожья. Не говоря уже о шоссе, о широких

трактах — здесь сплошь и рядом не встретишь даже тропинки на сотни километров вокруг. Наш деревенский проселок, который мы всячески поносим и высмеиваем, как варварский пережиток и экспонат ужасающей нашей нищеты и некультурности — здесь он выглядел бы, вероятно, как лучший гудронированный трек, в этих диких местах! Летом путники пробираются тут от становища к становищу, от поселка к поселку, ориентируясь каким-то шестым чувством, прямо сквозь тундры, по болотам и пескам; зимой они ездят, пересекая бесчисленные замерзающие озера, по сугробам и по целине снега, покров которого достигает порой двух метров в толщину. В тундре сплошь и рядом приходится при этом, чтобы прошли сани, рубить и ломать предварительно сучья кустарника впереди, топорами прокладывая путь; на равнинах сплошь и рядом приходится вброд переправляться через реки, акробатически карабкаясь по скалистым, почти отвесным берегам. Никакая лошадь не может, конечно, ходить здесь в упряжке—она увязнет и погибнет в болотах, она потонет в снегах, она искалечится на косогорах, она выбьется из сил на первом же километре пути в тундре. Но олень точно специально создан природой для этих робинзоновских условий и путешествий. Он идет сквозь тундру, подминая под себя и ломая рогами кустарник, почти так же легко и свободно, как по открытой, ровной дороге; он очень легок и ловок и проходит искусно переступая с кочки на кочку, по таким болотам, где увязают даже собаки; он совершенно не боится воды и, попадая зимой в проруби или полыньи на реках, с изумительным, непостижимым проворством выбирается, вытягивая сани и спасая людей и груз, наверх, как кошка цепляясь сильными ногами за лед; он никогда не теряется на крутом спуске, и задние олени упряжки тормозят, упираясь ногами в землю, ход «райды», саней, не хуже механизмов Казанцева или Вестингауза. Нет, словом, такого места ни в тундрах, ни в горах на Мурмане, где бы не прошло это чудесное животное таща за собой лодочку, кережку, в которой и зимой и летом ездят здесь, не имея представления о колесах и колесных дорогах, лопари.

— Поезжайте оленем! — советуют тут путнику, если выясняется, что добраться до места нельзя даже пешком, даже прокладывая себе дорогу топором: — олень свезет!

И олень, действительно, везет. Он необычайно вынослив и, взяв с места, идет без остановки десятки километров. Его надо не понукать, но сдерживать в работе, следя, чтобы он не переутомился, не голодал и не натирал плеч шлеей. Он никогда и ни за что не покажет, что устал или страдает, и будет итти и тянуть кережку, если его не остановить, до тех пор, пока не упадет замертво... При этом он до крайности неприхотлив, и круглый год остается на подножном корму, совершенно

не требуя ни сена, ни зерна, и сам отыскивая для себя траву и ягель, олений мох, под снегом.

Понятно поэтому, что покуда не будут проложены дороги на Мурмане, олень и оленья лодочка остаются здесь основными средствами передвижения внутри края. На оленях лопарь ездит на охоту и на рыбные тони; на оленях он возит дрова из лесу и продукты и снасти из ближайшего городка; на оленей он грузит весь скарб, кочуя с места на место по тундрам; на оленях же доставляется почта со станций в глубь, в становища. «Экзотический» олень, прекрасный благородный олень настолько вошел здесь в быт, что люди не замечают его, точно так же, как мы не замечаем лошаденок в наших селах и деревнях...

Олень, однако же, не только возит здесь человека, заменяя ему и лошадь, и автомобиль, и буйвола одновременно, он еще и кормит, и поит, и одевает его — в самом прямом и буквальном смысле этого слова. Олень, как средство транспорта— об этом не стоило бы, в сущности, даже говорить; будущее нашей страны исключает, конечно, такие способы передвижения даже в самых глухих и далеких углах. Но оленеводство, как промышленная отрасль — это проблема, которую давно пора поставить в порядок дня; она таит в себе огромную хозяйственную перспективу и огромные возможности не только для Мурмана, не только для советского севера в целом, но и для всей нашей страны вообще.

Кажется, нет в природе животного, более продуктивного в промышленном отношении, чем олень. Буквально, ни один грамм живого веса животных не пропадает на оленьих заготовках, когда они умело и рационально бывают поставлены. От рогов и до копыт — все имеет свою ценность в олене, все поддается переработке и утилизации, и находит себе самое выгодное применение и место в хозяйстве и промышленности.

Прежде всего, олень дает мясо. Трудно понять и об'яснить, почему оленина мало известна и мало популярна как продукт питания в нашей стране. Оленье мясо обладает отличными качествами и очень вкусно и нежно, гораздо нежнее телятины, и напоминает лучшую дичь. И в Америке и на Западе оно давно и очень широко вошло в обиход как своеобразный дешевый и общедоступный «демократический деликатесс»; у нас же не сделано до сих пор ни одной настоящей попытки, хотя бы в порядке эксперимента, ввести его в быт. Но об этом после. Кроме мяса, олень дает шкуру, которая перерабатывается на замшу; и у нас и даже на мировом рынке натуральная замша всегда была и остается дефицитным и чрезвычайно дорогим продуктом, и возможности экспорта здесь практически почти безграничны. На севере, помимо замши, из оленьих шкур, которые пропитываются особым составом из вываренной оленьей печени, изготовляется одежда, изумительно практичная и прочная, и сапоги, мяг-

кие и теплые оленьи пимы, на Мурмане очень искусно расшиваемые разноцветным тарусом и сукном; из них же делаются всегда вызывающие восторг и зависть моквичей меховые шапки с длинными наушниками, заменяющими при надобности и кашне и башлык одновременно; из них же кроятся перчатки, в которых руки в любой мороз чувствуют себя так, точно они всунуты в жарко натопленную печь; они же идут на чумы, на палатки кочующих лопарей, — и так далее. Оленья шкура — это такой изумительный универсальный материал, словом, из которого на севере делается решительно все, кажется, что нужно человеку, от носков до зимних домов включительно. Со шкуры, если она перерабатывается в замшу, сбривается предварительно шерсть; она идет на набивку спасательных кругов и дорогих матрацов, считается лучшим в этом отношении материалом в мире и очень высоко ценится на рынке. Оленье молоко, которое почти не употребляется у нас, на западе, в Норвегии, в частности, давно вошло в обиход и составляет основное питание оленеводов; из него делается великолепный, твердый сыр. Оленьи рога охотно раскупаются и у нас и в Европе как декоративный предмет, и, кроме, того, они широко идут на роговые изделия. Оленьи кости и копыта считаются лучшим сырьем для клееварочного производства. И даже из сухожилий оленя получаются единственные по прочности нитки, мягкие и эластичные, но крепкие, как проволока. И даже кровь оленя лопари собирают до последней капли употребляя ее как целебное, укрепляющее снадобье. Решительно ничто не пропадает даром, когда разделывается оленья туша, если промышленное оленье стадо обрастает, как это имеет место у американцев на Аляске, например, сетью соответствующих утилизационных предприятий, от замшевых и клееварочных заводов до меховых и роговых фабрик включительно, — и это обеспечивает возможность рациональной переработки всех «отходов». Все, до последнего кило, до последнего кусочка идет в ход; и небольшой, сравнительно, олень дает при убое в промышленном стаде до пятидесяти рублей чистого дохода с головы. Это то же, или даже больше того, что стоила в «мирное время» полновесная, упитанная и грузная корова на нашем рынке.

Чрезвычайно любопытно и характерно, что чуть ли не первым делом американцев, когда в 1867 году они купили Аляску у царского правительства России — была именно организация промышленного оленеводства на новой земле. Дело началось в скромных размерах: на Аляску было ввезено стадо в тысячу оленей. Это казалось смехотворным; таким стадом сплошь и рядом владел у нас перед войной любой кочевник-кулак, и на Мурмане и в архангельских краях. Но американское стадо на Аляске, вследствие целого ряда охранительных и поощрительных мер, какие там были

приняты, стало расти буквально на глазах и со сказочной быстротой; через тридцать лет тысяча оленей превратилась в двести тысяч, а к настоящим дням оленье стадо на Аляске исчисляется в миллион голов. Оно дает ежегодный прирост на 40 процентов, и одна только мясная, товарная его продукция, не считая шкур, замши, меха, рогов, шерсти и пр., приносит американцам, по официальным данным, два миллиона долларов чистого дохода в год. Как известно, Аляска была куплена у нас американцами за 7 миллионов долларов; в течение шестидесяти лет, на протяжении которых Америка владеет этим краем, она выкачала оттуда, в виде прибылей, миллиард долларов, то-есть сумму, в сто тридцать раз превышающую самую стоимость купленной земли. Трудно, конечно, подсчитать точно, но огромная часть этих прибылей падает, по данным экономики САСШ, на оленье стадо. Вот что значит, вот что может дать олень в рациональном промышленном хозяйстве.

Конечно, поставить на американский образец промышленное оленеводство на нашем севере вообще и на безлюдном, диком Мурмане, в частности, не так-то просто и легко; организация сети обрабатывающих предприятий тесно связана с общим вопросом о колонизации края и потребует и времени и крупных капитальных затрат. Но развести оленя на мясо, попутно перерабатывая простейшими дешевыми способами его шкуру и замшу, мы, несомненно, могли бы в самый короткий срок, и почти не прибегая к серьезным денежным затратам. И здесь перед нами открываются совершенно исключительные возможности в смысле дешевого продовольственного снабжения страны и неиссякаемый практически новый источник экспорта товаров, в которых хронически ощущается дефицит на мировом рынке.

В среднем, олень дает при убое около 70 килограммов мяса. Это довольно ничтожно, как будто, если сравнить эту цифру с тем, что дает крупный убойный скот; но это фантастически много, если учесть, что это почти даровое мясо, мясо скота, который не требует ни кормов, круглый год сам добывая себе пропитание на пастбищах в тундре, ни помещений и загонов, с которыми связаны всегда траты крупных средств, ни ухода, всегда поглощающего массу денег и чрезвычайно удорожающего в конечном счете мясной продукт. Это фантастически много, если понять, что вопрос о финансовых наших возможностях практически даже и не возникает почти при создании той огромной дополнительной мясной, животноводческой базы, которая может и должна быть создана на севере вообще, и на Мурмане в частности; решающим моментом являются здесь не деньги, как это обычно бывает, но исключительно почти организационное наше уменье, во-первых, и естественные кормовые возможности тундры, пред-

ставляющей пастбище для оленей, во-вторых. Экономисты и знатоки мурманского края подсчитали, что местные ягельные тундры, если правильно будет организовано пастбище, в состоянии кормить из года в год оленье стадо в 300.000 голов. Эти расчеты тщательно проверены в целом ряде инстанций и не вызывают сомнений. Выходит, если скромно взять цифру годового прироста даже в тридцать процентов, в полтора раза меньше американской, — что одно только мурманское оленье стадо может давать стране, абсолютно не истощаясь при этом, примерно 60 тысяч шкур и 4 тысячи тонн мяса в год. Практически это означает, что на внутренний рынок будет двинуто такое количество добавочного, дешевого и отличного по качеству мяса, которое позволит по крайней мере на тридцать процентов увеличить снабжение городов. Практически это означает, что будет создан, если всего одна треть этих продуктов пойдет на вывоз, добавочный источник экспорта на 700 тысяч долларов в год. И это один только Мурман, на котором размещена, примерно, всего лишь десятая часть оленьих пастбищ нашего севера. В целом крайний советский север в состоянии кормить, по примерным подсчетам, оленье стадо в три с половиной миллиона голов. Как бы осторожно и скептически ни подходить к вопросу, с какой бы скромностью ни намечать перспективы — цифры предварительных расче-

тов того, что нам обещает это, все равно остаются ошеломляющими. Мы буквально могли бы забросать наш рынок дешевыми и отличными окороками, мы могли бы буквально с головы до пят одеть всю страну в замшу и в меха, если бы действительно сколько-нибудь широко и рационально поставили оленеводство на крайнем севере, вызвав этим самым к жизни и впервые включив в хозяйственную систему республики огромнейший и совершенно дикий край.

Что же это означает, однако, практически — рациональное промышленное оленеводство? Каких мер, каких средств требует это дело и почему, если возможности и перспективы здесь действительно так бесспорны и так ошеломительны, — оно не поставлено у нас до сих пор? Почему на Мурмане, по данным последнего обследования, оказалось всего 84.000 оленей вместо тех трехсот тысяч, которые свободно могли бы кормиться на его тундровых пастбищах? Почему оленеводство практически оказывается здесь далеко не таким выгодным, как это рисуется в теоретических расчетах, и, во всяком случае, дает втрое или вчетверо меньше дохода, чем на той же Аляске, хотя бы? Почему до самой последней поры оно регрессировало у нас, вместо того, чтобы развиваться в большую и чрезвычайно эффектную отрасль хозяйства?

Конечно, этому есть много причин, из которых главная заключается, все же, несомненно, в ужа-

сающей нашей косности и неподвижности. Ибо по крайней мере наполовину это об'ясняется условиями, в которых содержится олень на нашем севере, — в частности, на Мурмане.

Порядок здесь таков, что олени круглый год бродят в тундре фактически без всякого присмотра; весной и осенью их перегоняют только с одних пастбищ на другие — и этим, практически, ограничивается вся забота хозяев о своих стадах. Пастухов лопари не держат и сами при стаде обычно не живут; раза два в месяц хозяин выходит на пастбище взглянуть, все ли в порядке в стаде, которое сплошь и рядом в промежутке между двумя его визитами забредает чуть ли не за сто километров от становища. Своих оленей лопарь отличает в тундре от чужих по особым отметкам, которые делаются у животных на ушах и называются «ушепятна»; они представляют собой комбинации довольно загадочных значков и черточек и носят несколько странное для европейского уха название — «четверть прочь», «покой», «вилочка», «сорочья лапа» и т. д. Иногда, вместо этих отметок на ушах, оленям подвешивают на шею особые деревянные значки очень затейливой формы, так называемые «кейкола», на которых обозначаются фамилия и адрес владельца. «Ушепятна» и «кейкола» регистрируются в сельсоветах, и все сельсоветы обмениваются их списками; поэтому, если к стаду лопаря прибавятся чужие олени, он всегда может определить

по «ушепятнам», кому они принадлежат. По обычаю, который издавна установлен и свято соблюдается в тундре, таких оленей полагается возвращать владельцу, перегоняя их в его становище; абсолютно не бывает случаев, чтобы, обнаружив чужого оленя в своем стаде, лопарь воспользовался им, не вернув животное тому, кому оно принадлежит. В свою очередь и он совершенно спокоен и уверен, что если его олени забрели в чужие и далекие края, их обязательно пригонят ему, едва начнется период своеобразного всеобщего весеннего или осеннего обмена.

Выезжая в тундры, чтобы проверить и осмотреть свое стадо и по следам отыскав оленей, лопарь ограничивается обычно лишь тем, что механически и совершенно пассивно регистрирует потери, несчастья и неудачи, которые произошли в период его отсутствия, абсолютно не пытаясь вмешиваться в события и как бы то ни было влиять на ход вещей. Между тем, предоставленное самому себе, оленье стадо терпит множество невзгод и ведет чрезвычайно нервную и нездоровую жизнь. Прежде всего, далеко не всегда олени способны самостоятельно ориентироваться в местности, отыскивая лучшие пастбища в тундре. Сплошь и рядом стадо топчется меж трех сосен на одном месте, выбивая копытами подножный корм, питаясь крохами и сидя фактически на

голодном паике, тогда как в двух или в трех километрах от него целыми месяцами пустуют великолепные, нетронутые ягельные поля. В итоге олени истощаются, теряют в весе и при убое дают мясо низкого качества и гораздо меньше обычной нормы. Правильная, рациональная постановка дела требует, чтобы при стаде всегда были пастухи, всего два человека на тысячу голов. Они регулируют ход и корма оленей, отыскивая лучшие участки, не давая животным вытаптывать ягель и осторожно переводя их с места на место. Они действуют при этом с помощью специально обученных собак. Северные собаки, лайки в частности, необычайно сообразительны и очень легко поддаются самой сложной дрессировке. Лайки понимают буквально каждое слово, каждый жест хозяина, не только выполняя, но и предупреждая всякое его приказание. Они следят, чтобы стадо не разбрелось по тундре и лаем, которого страшно боятся олени, сгоняют в кучу отбившихся, врезаясь в гущу животных; они в минуту выводят, «выбивают» оттуда любого оленя, на которого издали покажет пастух, — очередную упряжку, или вожака, которого ловят на лассо и привязывают к колу посредине ягельного участка, чтобы вокруг него группировалось все стадо; забегая и наступая с боков или с фронта, вертясь, как на шарнирах, они передвигают олений косяк, в котором нередко насчитывается две-три тысячи голов, влево,

вправо, вперед, назад, куда нужно и приказано, с такой легкостью, точностью и быстротой, которые кажутся совершенно непостижимыми постороннему человеку.

— Усь! — коротко, характерным гортанным голосом бросает, не двигаясь сам с места, пастух,— и лайки сорвались уже с саней и, кувыркаясь в снегу, кубарем понеслись куда-то выполнять приказанье, которое только они одни могут понять в этом окрике.

— Сани! — командует хозяин, — и они повернули тотчас назад и через минуту опять лежат уже, свернувшись в клубки, пряча морды в густом, теплом меху и кося умными, человечьими глазами, у его ног.

Чудесные, замечательные животные! Двух-трех лаек при стаде оказывается совершенно достаточно взамен целого отряда людей, чтобы организовать культурное, правильное пастбище. Разве это не по средствам оленеводу, колхозам оленеводов — держать хотя бы одного пастуха и двух собак на тысячу голов скота? И разве это не косность, если, экономя гривенники на пастухах или на изгородях из жердей, которыми обносятся при правильной постановке дела, ягельные участки в тундре, мы теряем из года в год сотни тысяч рублей, обрекая на полуголодное существование и на измор оленьи стада? На измор, когда в мурманской тундре, например, кормов для оленей всегда было и есть впятеро боль-

ше того, что нужно нынешнему лопарскому стаду! Пастух обходится в копейки, изгороди стоят гроши при изобилии дарового кустарника в тундре. Эффект же, который дают эти простейшие, вполне доступные меры,—совершенно исключителен. На весь Мурман известен, например, пастух-самоед Илья Васильевыч Ледков. Он работает в Понойском районе, и за пять лет, под его присмотром, стадо поноян увеличилось на двести процентов, в несколько раз превысив обычный для лопарских оленьих хозяйств прирост. Об этом знают во всех мурманских становищах, и все изумляются и завидуют, как будто, поноянам, но практических выводов отсюда почти никто все же не делает, и лопари, в большинстве, по старой убийственной традиции, круглый год держат своих оленей в «суземке», в лесах и тундрах, без всякого призора.

Между тем, помимо того, что олени истощаются на скверных кормах, они страдают еще и от волков и от оводов. Волки бродят здесь повсюду стаями, которые насчитывают по 20 и по 30 голов; они заходят даже к самому Мурманску, столице края. Нападая на стадо, они режут сплошь и рядом по несколько оленей за раз, из недели в неделю повторяя затем по проторенной дорожке эти хищнические набеги. С ними не ведется почти никакой борьбы; пастухи и владельцы оленей, если даже они оказываются в момент набега при стадах, ничего не в состоянии с этим

поделать, потому что они не вооружены и им самим зачастую приходится спасаться от волчьих стай, защищаясь криком, палками и головешками от костров. В итоге волки ежегодно уничтожают на Мурмане около трех процентов всего оленьего стада, пожирая сотни тонн импортного мяса, и это из года в год причиняет области убыток около 50.000 долларов. Пятьдесят машин Форда, иначе говоря! Конечно, и с этим можно бы бороться, организуя облавы, об'явив премии за каждую волчью голову, и вооружив пастухов и оленеводов, живущих при стадах, хотя бы охотничьими берданками. Но и в этом смысле почти ничего не предпринимается, и волчьи ватаги не только не уменьшаются, но продолжают расти из года в год.

Далее, оленя мучают оводы. Они портят, во-первых, оленьи шкуры, на которых от их укусов образуются свищи; в обработке на замшу такая шкура получается с дырками и идет как брак, по самой низкой и невыгодной цене. Во-вторых, мучимые оводами, олени мечутся по тундре с места на место, вытаптывая пастбища, изнуряясь и значительно теряя в весе. И здесь, опять-таки, спасенье в пастухе, который во-время переводит стадо на высокое или защищенное место, куда не проникают обычно оводы. Грошевый расход и тут окупается сторицей, предупреждая ежегодную порчу оленьих шкур.

Наконец, оставленные без присмотра, олени

часто отбиваются от стад и уходят к «дикарям», уводящим их с собою в глухие и далекие места, за сотни километров от освоенных пастбищ.

В итоге всего этого, когда наступает пора переводить оленей с одного сезонного пастбища на другое, и начинается генеральный подсчет — лопари каждый раз не досчитываются в стадах по несколько десятков голов. О пропавших оленях говорят, что они «не вышли» из тундры. Не вышли—и все тут! На Мурмана привыкли считать это нормальным и почти неизбежным явлением; между тем, фактически все это сводит на-нет почти весь сезонный прирост стада и исключает всякую возможность нормального развития и роста этого дела. Достаточно сказать, что этот прирост почти вчетверо ниже у нас, чем у американцев на Аляске. При таких регулярных потерях скота, при таком регулярном его истощении, при такой систематической порче его шкур — оленеводство оказывается почти невыгодным делом, и северяне сплошь и рядом бегут от него, переходя к другим занятиям и заработкам, сокращая стада и оставляя себе только ездовых оленей.

Вдобавок, на всем Мурмане до самого последнего времени был только один заводик замши в Ловозере, с пропускной способностью 8.000 шкур в год; только сейчас в Мурманске приступили к постройке другого, на 10.000 штук. Это несколько изменит все же положение, — а до сих

пор получалось так, что хотя мы сидим без замши и даже в Москве ни за какие деньги не достанешь ни одного ее метра — оленеводам некуда и некому было сдавать шкуры на переработку. Точно так же некому и некуда сдавать рога, шерсть, кости — и эти полезнейшие вещи почти сплошь пропадают зря, если они не идут на хозяйственные поделки у самих лопарей, не принося никакого дохода оленеводам. Точно так же ненормально и положение с оленьим мясом. Вопрос с его экспортом кое-как, после целого ряда инцидентов, наладился сейчас. Сначала наши заготовительные организации никак не могли поспеть с поставками в срок, и начинали отгрузку окороков, спрос на которые особенно возрастает на западе к рождеству, лишь весной; и фирмы, с которыми мы имеем дело, чуть ли не вдвое снижали поэтому, ссылаясь на сезонность товара, покупные цены на нашу оленину. Потом это наладилось кое-как, но тогда встал вопрос о качестве нашей оленины; кем-то был пущен и широко пошел слух, что мясо наших оленей часто бывает заражено, что мы бьем больных животных и так далее. Это был сущий вздор, потому что Мурман является исключительно благоприятным и благополучным для оленя и оленеводства местом; за последние сорок лет там не было буквально ни одной эпизоотии и ни одного крупного падежа скота.

Дело дошло до того, что норвежцы, главные по-

требители нашей оленины, прислали даже к нам специальную санитарную комиссию; комиссия познакомилась с положением вещей и констатировала абсолютную вздорность этих вымыслов. Инцидент был исчерпан, и наши поставки возобновились. Но все же мы получаем далеко не все, что могли бы получать от экспорта оленины, даже и при теперешних скромных размерах этого хозяйства на Мурмане. Дело в том, что мы экспортируем едва разделанные туши, за которые западные фирмы, норвежская фирма Кнют Эвангер в частности, платят нам примерно пятьдесят копеек за кило. Получив туши, фирма Эвангер разделывает их, выделяя филе, окорока и лучшие части, пакует мясо в пергамент и в особые ящики, обделанные войлоком и рогожей, и тотчас же отправляет его дальше из Вадзе в Осло и в Данию, перепродавая товар по цене, вдвое и втрое превышающей ту, которую она платит нам. Таким образом, мы теряем на этом любезном посредничестве по крайней мере по полтиннику на кило оленины. Зачем нам это нужно, спрашивается, и почему это необходимо? Неужели сами мы не можем научиться разделывать туши и паковать оленину в пергамент?

Но если с экспортом обстоит более или менее благополучно, все же, и западные фирмы готовы брать у нас любые количества оленьего мяса круглый год, то внутренний, собственный наш рынок не знает о нем даже по наслышке и

совершенно не подготовлен к его предложению. Некоторые шаги, которые были предприняты в этом направлении мурманцами, почти все кончились неудачами. Была как-то отправлена пробная партия оленины в Ленинград, для колбасного производства, в адрес Пищетреста, кажется; но там ее держали, «не рискуя» на эксперимент, до тех пор, откуда она целиком сгнила на складе. О каком риске, о каком эксперименте могла итти речь, когда точно такое же мясо из года в год тысячами тонн потребляется и подается в качестве деликатеса в любом ресторане на Западе? Была также отправлена пробная партия Центросоюзу; но там, вместо того, чтобы ухватиться за это дело обеими руками, подумав и поколебавшись, отправили оленину... на корм зверям в зоопарк. Была попытка привлечь к этому делу Жирсиндикат, который широко и очень выгодно мог бы использовать отбросы промышленного оленеводства; но тот, по неизвестным причинам, уклонился не только от работы, но даже и от ответа на все адресованные ему запросы. Словом, ни одна организация, в отношении которых делались попытки так или иначе втянуть их в это дело, не проявила к нему ни малейшего интереса.

При таком положении вещей, конечно, нечего было и думать до сих пор о росте оленеводства на Мурмане. Хорошо еще, что оно сохранилось хоть в тех размерах, в которых застает его нынешний день, сохранилось как база для новой

промышленности, которая должна быть и несомненно будет здесь организована.

Уже сейчас намечаются новые настроения и кое-какие первые практические шаги в этом деле. В Мурманске строится новый завод замши и по краю запроектировано несколько новых пунктов утилизации отходов оленеводства. На огромном ягельном массиве между реками Рында и Поноя организован первый в СССР олений совхоз на 7 тысяч голов; в течение ближайших трех лет количество оленей предположено довести здесь до 25.000 штук. Идет работа по об'единению кочевников в оленеводческие колхозы, обладающие всеми выгодами и преимуществами крупных, концентрированных хозяйств. Как-то будет, очевидно, разрешен вопрос и о пастухе и о правильной пастьбе—едва ли не основной вопрос заново организующегося оленеводства. Недаром американцы, создавая оленье стадо на Аляске, учредили там специальные курсы оленеводов и подготовили целый штат оленьих пастухов и практических работников этого дела чуть ли не за год до того, как прибыл первый олень на Аляску. Мы ведь имеем повсюду в центральных районах сеть курсов для сельских пастухов, почему бы не создать таких же курсов для пастухов тундровых?

Все это, конечно, только маленькое начало, только первые шаги в этом деле, перспективы и возможности которого поистине колоссальны в

нашей стране. Но и это всячески надо приветствовать и всячески поддерживать и поощрять людей, которые являются пионерами и организаторами совершенно новой, очень богатой и очень многообещающей области хозяйства в Союзе.

IX

По рекам Коле и Туломе.— Ловцы жемчуга.— На плотах.— Жемчужница.— Что такое жемчуг? — На свалках перламутра.— Как гибнут сокровища.— Неки елов.— Северный жемчужный лов.

...Если подниматься на Мурмане вверх по рекам Коле или Керети, или брести извилистыми тропинками вдоль берега Туломы, Варзуги или Кротова ручья — сплошь и рядом натыкаешься вдруг на огромные, сваленные прямо на земле бесформенные кучи колотых речных ракушек. Ракушки довольно значительны по размерам, они достигают десяти сантиметров в длину, и окрашены снаружи в какой-то неопределенный буроватый цвет; изнутри же створки, едва очистишь их от грязи, начинают вдруг отливать прекрасными и нежными красками настоящего перламутра. Ракушки лежат по берегам рек кучами, в которых не редко насчитываются целые тонны; это отходы производства, отбросы сконцентрированного в этих местах жемчужного лова.

Наш северный жемчужный лов,—хотя несомненно, что мы обладаем здесь огромным богатством и

возможностями, — до сих пор находится в зачаточном и убогом состоянии. В сравнении с жемчужными промыслами жарких морей и тихоокеанских островов, с зондскими, манильскими, цейлонскими и даже норвежскими промыслами он выглядит, как выглядело бы, вероятно, поле дикаря рядом с современной европейской земельной плантацией. Техника его совершенно примитивна, и его орудия, методы и традиции поражают своей средневековой первобытностью.

Лов организуется обычно летом, когда кончается половодье и прекращаются дожди, наносящие ил и сор в реки; вода, чтобы на большой глубине ясно было видно речное дно, должна быть абсолютно чистой и прозрачной. Ловцы выезжают на стоянки на обыкновенных, вязаных плотах с прорубленными в центре отверстиями,—окнами. Они вооружены длинными самодельными шестами, которые слегка расщеплены на концах и образуют примитивные «вилки», зажимы; на краях плотов, закрепленные веревками, лежат тяжелые валуны, камни, заменяющие якорь. Ловец плашмя растягивается на животе на плоту, который медленно спускается, гонимый течением, вниз по реке, и смотрит сквозь «окно» в воду; иногда, чтобы лучше видеть, он надевает при этом на лицо защищая глаза от солнечного света, жестяную коробку из-под монпасье, в дно которой вделан кусок обыкновенного оконного стекла. Он лежит на животе и смотрит в воду, руками сжимая шест,

а ногами придерживая веревку от валуна; едва острый его глаз заметит на дне приютившуюся в тине или меж камней жемчужную ракушку, он отпускает ногой веревку и отдает «якорь»; плот останавливается, и он, нацелившись, стремительно опускает шест в воду и ловит ракушку в «вилки», в расщелину. Потом он поднимает «якорь», опять обвязывает веревку вокруг ноги, опять ложится на живот у «окна» и трогается дальше. Лопари, которые преимущественно занимаются на севере ловом жемчуга, отлично изучили места скопления ракушек, они обладают изумительным зрением и изумительно метко и искусно работают «вилками»; сплошь и рядом один ловец подбирет с речного дна по двести по триста ракушек в день.

Такая добыча, если бы ракушки поголовно содержали в себе оформленный жемчуг, была бы, конечно, колоссальна. Но в огромном большинстве ракушки бывают пусты. Жемчуг, как известно, представляет собой особое перламутровое вещество, которое откладывают моллюски, живущие в раковинах. Обычно процесс этот имеет место лишь тогда, когда внутрь раковины попадает какое-нибудь постороннее тело — песчинка, крохотный обломок другой ракушки или кусочек водоросли; это раздражающе действует на моллюска и он начинает интенсивно вырабатывать жемчужное вещество, с течением времени обволакивая слоями попавший внутрь ракушки предмет.

Так образуется жемчуг. Характер и очертания этого постороннего предмета в значительной степени предопределяет поэтому и будущую форму и цвет жемчужин.

Поскольку створки жемчужных раковин необычайно плотно пригнаны одна к другой — песчинки, вызывающие раздражение у моллюсков, попадают внутрь сравнительно редко; так же редки, следовательно, и жемчужины в ракушках. В среднем, в тонне раковин удается найти не больше 30—40 жемчужин. Из ста ракушек в среднем только одна содержит в себе драгоценную, сверкающую, благородную горошину; девяносто же девять оказываются либо совершенно пустыми, либо они содержат частично жемчуг, но настолько мелкий и неоформленный, настолько молодой, что он почти не имеет цены на рынке. Удивительная работа, которую производят моллюски, требует огромного времени и тянется долгие годы; чтобы песчинка, попавшая внутрь раковины, превратилась в жемчужину, достигающую двух-трех каратов в весе, проходит обычно не меньше пятнадцати или двадцати лет. Если жемчуг оказывается мелким, это значит всего лишь, что раковины извлекли и раскрыли раньше времени, хищнически прервав жизнь и кропотливую работу моллюска и не дав жемчужинам дозреть и оформиться. Это страшно невыгодно, конечно, потому что мелкий жемчуг продается за гроши, на унции и граммы, и одна вызревшая, чистая жемчужина ценится

дороже, чем целая пригоршня таких недоносков, едва достигающих булавочной головки по размерам.

И в Европе и в Америке на всех мало-мальски значительных промыслах давно установлена и введена в обязательную практику целая система мер, предотвращающих уничтожение пустых раковин и раковин с недозрелым, молодым жемчугом. Раковина, когда ее извлекают там из воды наружу, подвергается тщательному осмотру: по целому ряду различных внешних признаков — по виду замка, по числу годовых колец на верхних ее покровах, по изгибам ее створок — опытный и сведующий человек почти безошибочно может определить ее скрытое от глаз содержимое. Если она пуста, ее, не раскрывая, тотчас же пускают обратно в воду; ведь она пуста сегодня, но завтра, быть может, случайно проникшая сквозь створки песчинка возбудит таинственный процесс жемчужных отложений у моллюска и в ней зародится сокровище! Если жемчуг оказывается слишком молод, раковину опять-таки щадят и опускают обратно, не ломая створок и не зарясь на легкую, мелкую добычу; ведь пройдут какие-то сроки, какие-то годы, и то, что едва различимо сейчас в лупу и стоит копейки, превратится, вырастая с каждым днем, в целый жемчужный клад, ценность которого будет исчисляться, быть может, десятками тысяч рублей! Жемчужина величиной с булавочную головку стоит

два-три рубля; жемчужина, достигшая размеров горошины, если она чиста и хорошо оформлена, ценится уже в тысячу рублей; а такие экземпляры, как знаменитая кенсингтонская или большая персидская жемчужина, имеющие по четыре дюйма в окружности, оценены на мировом рынке в полтора и два миллиона рублей каждая. Разница слишком колоссальна, чтобы ею можно было пренебречь! Сплошной лов молодых, копеечных жемчужин, из которых каждая имеет все шансы стать через десять-пятнадцать лет, быть может, вторым кенсингтонским экземпляром, выглядит, конечно, в этих условиях, как бессмысленное и хищническое мародерство и жестоко карается на европейских промыслах.

Но наш северный лов, в силу целого ряда причин, а главным образом потому, что этому делу никогда не уделялось у нас того внимания, которого оно несомненно заслуживает, не знает ни орудий современной техники, ни законов, которыми живут жемчужные промыслы за границей. У нас не введены даже в практику те простейшие, примитивные ножи, которыми работают норвежцы; с помощью такого ножа раковины приоткрывают чуть-чуть, не ломая их створок и получая, в то же время, возможность осмотреть их изнутри, отобрать зрелые жемчужины и бросить обратно в воду пустые и такие, в которых жемчуг только начал еще формироваться, не калеча и не убивая моллюсков. У нас попросту вытягивают на

берег весь ракушечный улов и сплошь колют наавось и уничтожают раковины, не подвергая их никакому предварительному осмотру. Девяносто девять из ста раковин, как сказано, оказываются пустыми и погибают совершенно бессмысленно, хотя каждая из них потенциально таит в себе богатство, исчисляемое многими сотнями рублей. Это быстро и катастрофически истощает, конечно, жемчужные запасы северных рек, с каждым днем суживая территорию и возможности промысла.

Чрезвычайно характерно, что колотая перламутровая ракушка жемчужницы до самых последних пор никак не утилизировалась у нас и оставалась в качестве отбросов огромными многотонными кучами лежать и гнить повсюду на берегах северных рек. Между тем, страна испытывает чрезвычайную нужду в перламутровом сырье, и мы ежегодно ввозим его из-за границы на два с лишним миллиона рублей. Анализы и опыты с несомненностью доказали, что наш перламутр ничем, в сущности, если исключить второстепенный вопрос об оттенках, не уступает импортному, и мы чрезвычайно легко могли бы, пустив его в дело, отказаться от ввоза. Это ежегодно освобождало бы нам миллион долларов в импортном балансе. Цифра, кажется, заслуживает того, чтобы призадуматься над ней и вплотную заняться этим делом! Но, как это ни странно, вопрос почти не двигается почему-то с мертвой точки, — хотя

разговоры вокруг него поднимались уже не раз; кучи ракушечных отбросов, в которых гниет отличный перламутр и бессмысленно гибнет золото республики, попрежнему продолжают лежать бесцельно по берегам рек...

Хотя наш северный жемчуг по качеству ниже американского, австралийского и африканского и не в состоянии конкурировать с ним на мировом рынке в цене—наши промыслы имеют, тем не менее, все шансы и возможности превратиться, с течением времени, если на это дело будет обращено внимание, в источник огромных доходов для страны.

В старое время жемчужный лов на Мурмане и в Карелии практиковался чрезвычайно широко и охватывал около восьмидесяти рек. Ловецкие артели насчитывали сотни людей, и на Мурман наезжали постоянно, чтобы за гроши скупать чемчужные богатства десятки русских и иностранных скупщиков. Точные цифры общих добыч остались неизвестны, но северный жемчуг расходился, так или иначе, по всей стране, и жемчужные серьги, бусы, гребенки и кокошники и посейчас сохранились в качестве обычных украшений у карельских и мурманских крестьян. Неизвестны и точные данные вывоза жемчуга, но по официальным, несомненно преуменьшенным, сведениям в шестидесятых годах этот вывоз определяется ежегодной цифрой в 200 тысяч рублей, непрерывно и систематически снижавшейся с тех

пор вследствие хищнической эксплоатции жемчужных рек. Сейчас годовая добыча жемчуга на Мурмане едва достигает 40 тысяч рублей, и занимаются ловом почти исключительно одиночки-лопари, не встречая при этом никакой поддержки и никакого поощрения со стороны соответствующих мурманских учреждений. Правда, им все же удается в хороший сезон зарабатывать иной раз по полторы и по две тысячи на человека, но все же запасы жемчужницы сильно истощены, лов в общем стал маловыгоден, захирел постепенно и все дело оказалось как-то вне сферы хозяйственного и общественного нашего внимания и забот.

Целый ряд специальных исследований с несомненностью показывает, между тем, что природные условия Мурмана, этой советской Канады, чрезвычайно благоприятны для жемчужницы, и она, при наличии самых простейших мер охраны, в несметных количествах могла бы плодиться в северных наших реках, чрезвычайно быстро восстановив подорванную многолетним хищничеством жемчужную базу. Целый ряд подсчетов и работ с несомненностью говорит о том, что если бы в это дело были внесены самые примитивные элементы научной и технической организации — его чрезвычайно легко можно поднять на такую высоту, при которой старые цифры добычи покажутся просто курьезом, и жемчужный промысел и экспорт жемчуга приобретет первостепенное значение в хозяйстве советского севера. Ведь ничтожные сравнительно цифры прежних добыч целиком определялись отсталыми первобытными формами и методами жемчужного хозяйства, которые практиковались в старой России. Мы же располагаем сейчас десятками возможностей при самых ничтожных затратах сверху до низу рационализировать это многообещающее дело.

Мы можем наладить элементарный инструктаж ловцов и добиться того, чтобы бессмысленному уничтожению пустых раковин и молодого, недозревшего жемчуга был положен конец; для этого нужно только ввести в практику норвежские ножи, которые стоят гроши, и сообщить хотя бы начатки научных сведений о жемчуге людям, которые работают на его добыче. Мы можем организовать скупку жемчужной ракушки и ежегодно спасать те десятки тонн драгоценного перламутра, который зря погибает сейчас в свалках по берегам рек. Мы можем развести в жемчужных ручьях форель, вернейшего друга и защитника жемчужин; жемчужные моллюски в первые месяцы жизни не имеют еще защитного панцыря и в огромных количествах поедаются рыбами; но форель, наоборот, чудесным образом скрывает моллюсков от взоров других рыб, пряча их себе под жабры, и носит их там на протяжении нескольких месяцев, только тогда опуская их на дно, когда вокруг их тел образуются защитные створки раковины. Мы можем, наконец, хотя бы в опытном порядке, наладить искусственное разведение жем-

чуга, придя на помощь отстающей в темпах природе и особыми, уже известными в науке, способами вводя в пустые раковины те песчинки, вокруг которых через несколько лет работы моллюска образуются жемчужины. Этот исключительный по результатам способ давно и широко практикуется в Китае и начинает применяться сейчас и на европейских и американских промыслах. Да мало ли вообще есть новых возможностей в деле, в котором целиком сохранились еще нетронутыми методы и традиции петровских и екатерининских времен и которое сулит, если хоть немножко, хоть мимоходом заняться им, миллионные доходы стране! Примерно подсчитано, что одна только защита форелью и норвежские ножи, в корне изменив и уничтожив прежнюю мародерскую практику лова, в самый короткий срок по крайней мере в десять раз и количественно и качественно могли бы поднять нашу добычу по сравнению со старым временем и со старым экспортом, следовательно. И это одни только ножи! А кто скажет, кто может предвидеть, как станет расти цифра добычи, если на жемчужных северных реках будет введена вся система охранительных и организующих мер целиком?

Но пока что, у нас не делается решительно ничего, кажется, чтобы как-нибудь двинуть, расширить и рационализировать это дело. Мало того — мурманский Госторг, которому в первую очередь следовало бы, казалось, заняться вопросами нашего

жемчуга, всячески отмахиваясь от него, делает, напротив, все возможное, кажется, чтобы совершенно похоронить эту проблему и ликвидировать промысел. Он не только не организует собственных ловецких артелей, инструктажа, заповедников и пунктов, где принимался бы ракушечный перламутр, не только уклоняется от всякой помощи ловцам, — фактически он вообще совершенно неизвестно почему отказывается даже от скупки жемчуга, который предлагают ему лопари. Мелкого жемчуга в Госторге не принимают почему-то вовсе. Вдобавок, в мурманском отделении Госторга нет весов для жемчуга, и его носят оттуда взвешивать в... аптеку; старые же аптечные весы обладают капризным характером и странной особедностью, вследствие которой, сколько бы ни перевешивали жемчужину, они каждый раз показывают другой вес. Не встречая никакой поддержки в работе, принужденные за бесценок отдавать продукт своего тяжкого труда, смущенные и озадаченные тем странным равнодушием, с которым относятся к ним и к их делу в Мурманске, — ловцы один за другим покидают жемчужные промыслы, разбредаясь по краю в поисках другой работы, и брошенные промыслы все больше и больше пустеют и хиреют с каждым днем прямо на глазах.

Однажды сдал Госторгу партию великолепного жемчуга известный на севере ловец и охотник Некипелов. Это—интереснейший вообще тип, роман-

тик, бродяга, следопыт, бессребренник, типичный герой рассказов Джека Лондона, влюбленный в север и порабощенный им, очевидно, человек. Он месяцами одиноко живет в тундре, кочуя с места на место, избегая людей и обходя человеческое жилье и лопарские становища и изредка появляясь в Мурманске только для того, чтобы пополнить запасы сухарей и ружейных патронов. Он изумительный охотник, бьет без промаха с лету в подброшенную копейку, знает на Мурмане каждую тропинку на пятьсот километров вокруг и так безошибочно и уверенно идет по следу любого зверя, точно обладает чутьем и инстинктами какого-то сверхъестественного существа. Работая в одиночку, он ловит и поставляет живых волков, куниц и песцов чуть не во все зоопарки страны. Обычно Некипелов появляется в Мурманске с богатой добычей, неся за плечами десятки собольих и песцовых шкур; в Госторге, принимая товар, ему выплачивают, случается, по нескольку тысяч рублей за раз. Тотчас же его окружает целая толпа друзей, прихлебателей, бездельников, картежников и просто нуждающихся людей, и он направо и налево, со щедростью Ротшильда и с беззаботной небрежностью и великодушием рыцаря, в один час раздает, посмеиваясь, все, чем оплачено было несколько месяцев его сурового труда в тундре. Деньги точно жгут ему руки, и он часто повторяет, что у него неспокойна бывает душа, когда они бренчат в кармане. То, что остается

после раздачи, в первую же ночь проигрывается в карты и пропивается до последней копейки в портовом кабачке; на утро, с мешками сухарей и дроби за плечами, посвистывая собаке, Некипелов опять уходит на несколько месяцев в тундру...

В партии, которую он сдал Госторгу, было 27 великолепных, чистейших круглых и больших, как вишни, жемчужин. Они стоили много тысяч рублей, они были образцом того, что могут дать северные жемчужные реки, и их решено было отправить для продажи на специальную выставку в Европу. Некипелов сдал их, получил расписку, и ушел бродяжничать в тундру. Когда он вернулся через несколько месяцев, ему сказали, что жемчуг не продан, так как за него не дали требуемой цены, и пришел обратно. Некипелову предложили получить его в таможне. Он отправился туда, взял ящик, запечатанный семью печатями и, когда раскрыл его, в гнездах, где лежали его изумительные жемчужины, нашел... обточенные кусочки гранитных камней. Всякий другой ловец на его месте был бы потрясен, конечно; многие, как это не раз случалось на промыслах, в аналогичных обстоятельствах, пустили бы себе, вероятно, пулю в лоб. Некипелов же только поднял изумленно брови, подумал секунду, потом засмеялся, бросил ящик с камнями через окно таможни в море, повернулся круто и, ни о чем никого не спрашивая, пошел прочь...

Кто и при каких обстоятельствах похитил жем-

чужины, так и осталось невыясненным; как это ни странно, никто не счел нужным расследовать эту загадочную историю. Но случай этот получил широкую известность повсюду на Мурмане и тоже сыграл свою роль.

...Я слушал историю Некипелова и рассказы и жалобы ловцов, смотрел, об'езжая жемчужные реки, на свалки погибающего советского перламутра, просматривал отчеты, проекты, материалы экспедиций и исследований, которые все сходились на одном и все приводили огромнейшие цифры возможных добыч и долларов, которые из года в год теряем мы и буквально топчем здесь ногами,— и думал: до чего же все мы неподвижны еще, инертны, как нехватает еще все-таки нам делового уменья, ищущей, творческой, созидающей инициативы!

X

На «Выге» в океан. — День или ночь? — У мыса Пифагория. — Александровск. — Полярная академия. — О китах. — Г. А. Клюге. — В океане. — Рыбные поля. — Рыбацкое кочевье. — На «шняках» и «елах». — Наши уловы. — Тральщики. — Становище Териберка. — Без наживки. — Египтах Могучий. — На приемке. — О возможностях и перспективах.

Ранним июльским утром на буксире «Выг» мы выезжаем из Мурманска по Кольскому заливу в Александровск.

О том, что сейчас утро, мы знаем, впрочем, только по часам и по тому легкому ознобу, какой охватывает всегда, когда не выспишься, тело. Летом день и ночь на Мурмане почти не отличаются друг от друга; солнце, заливая изумительной бледнорозовой краской горизонт, заходит около одиннадцати часов вечера всего на час, на полтора. Некоторое время над землей стоят прозрачные, синеватые, тихие сумерки, напоминающие наши предрассветные часы; в двенадцать, или в начале первого солнце снова появляется уже на небе, медленно поднимаясь ввысь и осушая сверкающими своими лучами чистую, холодную росу на пробужденной земле. В три часа пополудни и в

три часа пополуночи оно занимает почти одно и то же место на небосклоне, и только настоящий северянин может определить в это время, день или ночь стоит над Мурманом. Мы же, путешествуя около месяца по этому сказочному краю, совершенно потеряли нормальный, обычный счет времени и положительно выбились из сна; ночь исчезла бесследно уже очень скоро за Ленинградом, а укладываться в постель при полном дневном освещении, хоть вагон и был оборудован специальными двойными черными шторами — с непривычки казалось как-то странно и невозможно. И мы бродили, раз'езжали и работали порой целыми сутками напролет, положительно не замечая, как сменялись день и ночь, и ложась спать только тогда, когда сонная одурь окончательно овладевала телом и сознанием. Сплошь и рядом мы обедали, спуская шторки на окнах, чтобы солнце не било в глаза, в два часа ночи, а в пять утра пили вечерний чай. К сплошному дню так же трудно привыкнуть, как и к сплошной полярной ночи, которая приходит ему зимой на смену и держит землю в мутной, тоскливой тьме все двадцать четыре часа суток. Даже люди, постоянно живущие на Мурмане, незаметно для себя иногда выбиваются вдруг в эти летние месяцы из колеи. Нередко глубокой ночью, в два и три часа, на улицах Мурманска мы видели, например, ребятишек, игравших в бабки; матери, женщины, обвязав от солнца головы платками, стирали белье во дворе, а под заборами, кудахтая несколько изумленно и обеспокоенно, рылись, оставив нашесты, куры... Скотина свыкается с полярным днем и с мраком сплошных полярных ночей еще труднее, чем люди; лошади и коровы, которых завозят сюда из центральных губерний, первое время буквально не находят себе места; они нервничают, мечутся, не спят и ржут и мычат все время тревожно, как перед землетрясением. Проходит несколько месяцев, прежде чем они привыкают кое-как к этому необычайному течению северных суток...

Мы отдаем концы, и маленький «Выг», обогнув пристани, выходит из порта на простор покойного, застывшего залива. Очень скоро, дойдя до мыса Пинагория, мы наблюдаем, стоя на капитанском мостике, необычайное и таинственное явление. Едва «Выг» достигает какой-то черты, стрелка компаса начинает дрожать и колебаться и вдруг резко и круто отклоняется вбок. Это явление, регулярно отмечаемое в вахтенных журналах всех проходящих здесь судов, до сих пор не имеет еще в сущности исчерпывающего об'яснения. Можно только считать установленным, что в этом месте Кольский залив пересекает начинающаяся, очевидно, еще где-то в Норвегии полоса магнитных железных руд. Но что это за руды, насколько они богаты и как велики их залежи — никто точно сказать не может. Залежи, что крайне характерно для севера, богатства и возможности которого изучены едва ли даже в одной своей деся-

той части, остаются неисследованными. Может быть, как предполагают некоторые из геологов, более или менее знающих север, по качеству и по происхождению эти руды тождественны нашумевшей в свое время курской аномалии, и экономически маловыгодны, следовательно; но, может быть, здесь покоится целый подводный железный материк, может быть, здесь скрыт такой клад, который обогатит со временем не только нашу страну, но и весь мир? Мы ничего не знаем еще, строго говоря, об этом месте, кроме того, что здесь отклоняется, автоматически регистрируя наличие сокровища на дне залива, стрелка компаса. Если даже предположить, что руда идет узенькой полоской и бедна по содержанию, это не меняет дела; ведь мировые запасы руд тают с каждым днем, мы, несомненно, стоим накануне их полного истощения, и то, что сегодня не представляет еще как будто промышленного интереса, завтра окажется уже реальным и огромным богатством. Но никаких определенных, проверенных данных для таких предположений нет; это только догадки, которые, несмотря на то, что наличие руды установлено здесь уже несколько лет тому назад, остаются непроверенными. Как мало все-таки внимания уделяется у нас северу и его необ'ятным, неисчерпаемым возможностям!

Около четырех часов пути отделяют Мурманск от Александровска, крохотного, точно вделанного

в скалы городка у самого выхода в океан. В Александровске расположилась знаменитая полярная биологическая станция, за работами которой с напряженным интересом следит весь научный мир Союза и Европы. Это—единственное в своем роде учреждение, полярная академия, работы которой целиком посвящены флоре и фауне Северного Ледовитого океана. Ее гербарии и коллекции, непрерывно пополняемые постоянными океанскими экспедициями на собственных моторных ботах, представляют совершенно исключительный интерес и ценность, являясь, вероятно, единственными в мире. Ее переполненные живыми рыбами и водорослями аквариумы с такой наглядностью демонстрируют жизнь отдельных уголков океана, точно эти уголки подняты каким-то фантастическим краном со дна и в неприкосновенности перенесены сюда в огромные стеклянные зеленые ящики. Ежи и морские звезды, акулы и анемоны, голотурии и тюлени, треска и сельдь, иглы, раки-отшельники и баланусы — от крохотных креветок до колоссального костяка кита, выбросившегося на берег под Мурманском, — на станции собрано за многие годы и представлено лучшими, великолепными экземплярами все, что населяет холодные воды угрюмого и замечательного севера. Работа этого маленького, затерявшегося в глуши, во тьме полярных ночей учреждения поражает исключительной своей разносторонностью и масштабами. Анализ морских микроорганизмов и мо-

дели крючков для удобной ловли, Гольфштрем и проблема рыбной наживки, мерцательный эпителий медуз и тралловый лов в океане — десятки разнообразнейших и сложнейших вопросов разрабатываются одновременно в ее кабинетах и лабораториях. Она регулярно выступает на международных конгрессах с блестящими докладами, которые переводятся неизменно на все европейские языки и на подготовку которых требуются целые годы упорной теоретической работы, и в то же время организует рыбацкие школы и курсы на побережьи, с удивительной настойчивостью внедряя элементы научной организации в практику наших северных промыслов. Она собирает в себе в летние месяцы для консультаций, для обмена мнениями, для самостоятельных исследований на месте и для практики сотни ученых, специалистов и студентов со всей страны и одновременно почти целиком снабжает экспонатами северной природы огромнейшую сеть музеев, лабораторий, вузов и школ Союза. Она организовала постоянную, сложную и огромную переписку с биологическими станциями всего мира и в то же время ведет кропотливую краеведческую работу на Мурмане. Прямо поразительно это уменье одинаково одарять вниманием, одинаково настойчиво держать постоянно в поле своего зрения и наблюдений и огромнейшие мировые проблемы и мелочи, которые составляют «суету» сегодняшнего будничного дня! Теория и практика, глубокая научная мысль

и живое, конкретное дело удивительным образом сливаются здесь, дополняя друг друга, в одно великолепное целое. Каждый, совершенно отвлеченный, казалось бы, научный вопрос, разрабатываемый в стенах этой академии на океане, неизменно оказывается связанным в конце концов с проблемами огромной хозяйственной важности для севера. Годами велась, например, сложнейшая работа по изучению микроорганизмов, мирриадами кишащих в морской воде, — и скептики и невежды и на местах и даже в центре не уставали пожимать плечами и удивляться — зачем и кому это нужно в современной нашей обстановке, когда у нас остаются неразрешенными сотни научных и практических вопросов гораздо большей важности и значения? Но, оказывается, что эти микроорганизмы составляют основное питание для личинок рыб, для мальков; наличием микроорганизмов в отдельных участках океана, их породами, количеством и перемещениями определяется поэтому чисто практический и чрезвычайно важный с хозяйственной точки зрения вопрос о местах концентрации будущей рыбы. Или же, Гольфштрем, например. Опять-таки, многим казалось и кажется странным — какой смысл в его систематическом изучении, которому из года в год целиком отдают все свое время десятки людей на станции? Разве вопрос о точном направлении и периодичности его струй есть вопрос первостепенной важности для нашего строительства? Разве у нас так

много научных сил и времени, чтобы расточать его на это второстепенное дело, игнорируя десятки первоочередных проблем? Но оказывается, что с меняющейся периодически температурой Гольфштрема прямо связан, опять-таки, совершенно практический и важнейший вопрос о подходе и о размножения рыбы—трески и сельди—наших берегов Именно колебаниями в температуре Гольфштрема, которые рыба воспринимает чрезвычайно болезненно, об'ясняется постоянная резкая разница в уловах. Изучая течение Гольфштрема и закономерность его капризов, оказывается возможным, поэтому заранее с исчерпывающей точностью предсказать и время подхода, и места концентрации, и качество, и общий «урожай» трески и селедки. Норвежцы давно уяснили себе это, и рыбаки сплошь и рядом работают там с термометрами взамен тех икон, которыми, по традиции, нередко вооружаются у нас еще и посейчас, выезжая на лов, поморы. Вопрос о Гольфштреме оказывается, таким образом, коренным хозяйственным вопросом для края, и настоящее и будущее которого по крайней мере наполовину зиждется на рыбе. А скептики, когда станция ставит этот вопрос в центре своего внимания, все пожимают плечами, совершенно не трудясь вдумываться в существо вопроса и понять и оценить настоящий творческий размах в организующей работе замечательной этой полярной академии. Гербарии, коллекции, аквариум — да, это понятно; скелеты китов — да, это интересно. Но Гольфштрем, причем тут Гольфштрем? С какой стороны это важно для нашей и мировой революции?

Два слова о китах, раз уж зашла о них речь. Кит, части скелета которого мы видели на станции в Александровске, весил живым что-то около 16 тонн. Но это был отнюдь не предельный по величине экземпляр; скорее это был, напротив, китенок, а не кит — так себе, подросток, юнец. Взрослый, здоровый гренландский кит сплошь и рядом достигает двадцати трех метров в длину и весит около ста тонн; его пасть имеет пять метров в ширину и глаза, непропорционально маленькие в отношении тела, все же втрое или вчетверо больше бычьих; водяной фонтан, который он выдувает периодически, подымается до четырех метров в высоту и бывает виден на расстоянии нескольких километров. Если положить такое чудище на чашку весов, то на другую чашку, чтобы его уравновесить, пришлось бы поставить, примерно, двести взрослых, откормленных быков... Киты выбрасываются на Мурманском побережьи не очень часто, но все же не являются здесь особой диковиной; такие случаи регистрируются почти каждый год. Иногда китов загоняют в берег, стаями преследуя их и терзая, морские касатки, единственные, кроме человека, враги кита в природе; о характере этих хищников можно судить уже по тому, что двадцатитрехметровый кит во все лопатки удирает от них при встречах,

куда глаза глядят, — как удирает, поджав хвост, травимый зверь от несущихся за ним стаей волкодавов. Большей же частью киты выбрасываются на берег сами, увлекаясь охотой за мелкой рыбешкой, заходя слишком близко к суше и садясь на мель. Тут они становятся беспомощны и страшно неповоротливы; а когда наступают часы отлива, убывающая стремительно вода совершенно обнажает их колоссальные тела, они оказываются лежащими на сухом месте и обычно погибают очень быстро, не выживая даже нескольких часов. Они дышат, вообще говоря, атмосферным воздухом и для такой скорой смерти нет, казалось бы, причин, но их губит их собственный вес. Дело в том, что по известному закону Архимеда, в воде каждое тело теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им вода; поскольку, удельный вес кита, примерно, равен удельному весу воды — в море это чудовище не весит почти ничего, но едва кит осыхает на мели, собственный колоссальный вес обрушивается на него всей своей тяжестью. Суша оказывается неприспособленной для жизни таких колоссов; кости и связки кита, на которые давит со страшной силой вся его шестнадцатитонная туша, рвутся и ломаются, не выдержав, мышцы провисают, кровеносные сосуды и дыхательные пути ущемляются, и животное гибнет задыхаясь и изнемогая, прямо на глазах. Каждый раз, когда кит выбрасывается вблизи населенных мест, наступает праздник для поморов.

Вооруженные ножами, топорами и баграми люди огромной толпой сходятся разделывать и делить тушу, которая способна по крайней мере на протяжении года кормить целый поселок рыбаков. Один крупный кит, подкожный слой жира у которого достигает сплошь и рядом сорока сантиметров в толщину, дает около пятнадцати тысяч литров прекрасной ворвани, не считая огромных туш мяса, которое на севере также идет в пищу; кроме того, с него снимается около тысячи килограммов костяного уса, который высоко ценится, как известно, на рынке, кожа, всяческие отходы и так далее. Средняя стоимость продуктов, доставляемых одним китом, определяется, примерно, цифрой в 20—25 тысяч рублей. Понятно поэтому, какие чрезвычайные выгоды сулит нам китовый промысел, если бы он был организован на севере, если бы мы поставили там правильную охоту на китов, не довольствуясь тем, что изредка они сами заходят к нам в гости. Конечно, это довольно сложное и дорогое дело, перспективы которого недостаточно ясны; тут многое надо предварительно взвесить, продумать, подсчитать и изучить; но несомненно, что возможности к организации такого промысла на нашем севере есть, и очень странно, что до сих пор не предпринимается почти ничего, чтобы сколько-нибудь детально изучить их.

...Мы бродили по кабинетам и лабораториям полярной академии в Александровске, на взморье Северного Ледовитого океана, знакомясь и с ней

и с людьми, которые здесь работают. Во главе ее уже больше двадцати лет бессменно стоит профессор Г. А. Клюге. Крупнейший специалист, ученый с европейским именем, человек этот целиком отдал свою жизнь северу и тому делу, которому он служит здесь, создав в безлюдной глуши, в маленькой бухточке среди диких, угрюмых скал этот замечательный научный уголок. Он приехал сюда еще задолго до того, как проложена была железная дорога к Мурманску; тогда в этом крае ездили только на оленях, тогда здесь не имели еще почти никакого представления о радио и телефоне, и связь Александровска с внешним миром поддерживал только пароход, раз в месяц заходивший сюда из Архангельска и привозивший письма и пачки старых газет. В городке не было ни врачей, ни больницы, ни театра, конечно, никаких культурных и общественных учреждений и бытовых удобств; жизнь здесь была сурова и до крайности примитивна. Но Клюге не смутила эта тяжелая обстановка, от которой очень многие на его месте бежали бы, конечно, через неделю, бросив все, на свет больших городов. Это был подлинный человек науки, и все, что было за ее пределами, имело для него лишь второстепенное значение. Он остался в Александровске и начал работать, вкладывая в дело все свое уменье, душу и способности и находя высшее удовлетворение и наслаждение в том, что это дело с первых же дней начало расти и развиваться его усилиями на его

глазах. Именно он поднял станцию на ту высоту мирового научного учреждения, на которой она сейчас стоит; именно он превратил ее, с течением лет, в тот организующий наше северное рыбное хозяйство центр, которым она является сейчас, практически разрабатывая все проблемы лова на Мурмане. Десятки раз приглашали этого человека, суля ему всяческие блага, комфорт и удобства, в столицу, десятки раз предлагали ему кафедры в университетах крупнейших наших и европейских городов, и десятки раз он отвечал и отвечает неизменным категорическим отказом на эти письма, оставаясь в дикой глуши, в краю полярной ночи, в городишке, где всего 306 человек населения, где никогда не видали автомобиля, где нет ни аптек, ни кино, ни водопровода, и куда московские и ленинградские газеты приходят с запозданием на десять-двенадцать дней. Но там стоит и работает его станция! Но там растет и развивается его дело, которому он отдал всего себя без остатка! И это заменяет, очевидно, все, и это предельно наполняет, очевидно, огромным и радостным содержанием жизнь!

На стене в квартире Клюге висят портреты его и жены такими, какими они когда-то приехали сюда — молодыми, веселыми, полными юношеского задора, надежд и веры в будущее. С тех пор прошло много-много лет, в волосах этого человека появились уже седины, на лице обозначились и залегли морщины. Но все той же молодой улыбкой

светятся его глаза, та же свежесть ищущей мысли, та же горячность юности звучит и ощущается в его словах; счастливы люди, которые умеют превращать в источник постоянной радости своей повседневный труд!

...Океан встречает нас неприветливо. Низко нависло хмурое, свинцовое небо; свежий шквалистый ветер нагоняет зыбь, и маленький «Выг» ныряет беспрестанно, вздрагивая и поскрипывая, взбираясь с волны на волну и, как утка, отряхиваясь от воды. Моряки говорят, впрочем, что это еще благодать, что по такой погоде хоть кислое молоко вози, и ничего лучшего на океане и желать нельзя. Как-то в настоящую бурю, в шторм «Выг» вел в Мурманск траллер на буксире; волны достигали тогда такой высоты, что с мостика «Выга» не было даже видно за ними судна, которое тащилось, пришвартованное троссами, в нескольких десятках метров за кормой,—изредка мелькали только, тотчас же скрываясь, верхушки его мачт... Океан суров, беспокоен, деспотичен и редко одаряет лаской дерзающих пересекать его просторы путников.

Мы идем, минуя остров Кильдин, где раскинут сейчас заповедник голубых песцов и строится первый в Союзе крупный завод по выработке иода, — идем, не теряя земли из виду, прямо на Териберку. Крутые, скалистые и необычайно мрачные океанские берега напоминают времена первозданья хаотичной и неустроенной земли. Они

безлюдны и мертвы; и даже низкорослые жесткие мхи, которые пробиваются кое-где на утесах, кажутся искусственно воткнутыми в расщелины, — настолько не верится, что возможна какая-нибудь жизнь на этих холодных, диких и угрюмых камнях. Таким же безжизненным невольно представляешь себе и океан, серые, неприветливые воды которого омывают эти пустынные берега. Но старый закон, как бы ни казался он парадоксален, остается верен себе и тут; распределение жизни на земле оказывается диаметрально противоположным распределению ее в морях. Чем более она скудна, угрюма и однообразна на берегах, тем больше блещет она, кипя, всеми своими чудесными красками в темных и таинственных глубинах вод. Недаром именно промыслы арктических морей оказываются самыми богатыми в мире! И Северный Ледовитый океан, который кажется снаружи омертвевшей пустыней, внутри кишит миллионами, милиардами живых существ и организмов. Акулы и креветки, киты и мойва, треска, пикша и зубатка, сельди и касатки, палтус, сайда, окунь, камбала, медузы, звезды, иглы, аспадии, — рыбы, морские цветы и водоросли заполняют буквально каждую пять воды в этом колоссальном и сказочном аквариуме! Живая, напряженная, полнокровная жизнь кипит безостановочно под внешним, нарочитым, как декорация, мертвенным покровом, которым окутаны угрюмые берега и поверхность пустынных водных северных просторов...

Когда весной, отстояв зиму у норвежских берегов, оттуда трогается к нам на откорм треска — она идет стаями, которые подчас занимают площадь в сто километров. Сто километров сплошного рыбного поля! И треска и сельдь, которая появляется под осень, идут так густо, что птицы опускаются и держатся на ее сплошных массах, как на земле, и рыбу бывает видно с мачт судов за десятки километров; рыбаки рассказывают, что весло, воткнутое в эту кашу остается стоять точно вкопанное в землю. До сих пор на Мурмане сохранился еще весенний, так называемый удебный лов, когда треску ловят с лодок на удочки без всякой наживки, приманки; рыбы бывает так много, что ее цепляют штуку за штукой, как из котелка с ухой — просто голыми крючками, еще поспевая забрасывать удочки и вытаскивать добычу. В удачные дни рыбаки, выезжая с утра на промысел, возвращаются к вечеру домой, настолько заполняя баркасы рыбой, что их перегруженные, полузатопленные кладью суденышки чертят бортами воду. Не преувеличивая можно сказать, что наша страна обладает на Мурманском побережьи богатейшими в мире промыслами, возможностями и резервами, которые мы даже приблизительно не в состоянии пока учесть и охватить.

Наш северный тралловый и кустарный прибрежный лов определяется сейчас, в общем, ежегодной цифрой в тридцать тысяч тонн. Конечно, и это надо признать достижением, если принять во

внимание, что в 1920 году мы вылавливали в этих водах всего четырнадцать тысяч тонн, и цифра добычи, стало быть, удвоилась с тех пор. Но все-таки она выглядит смешно и даже карикатурно, эта цифра, на фоне того, что мы можем и несомненно будем здесь получать, хоть отчасти подняв на высоту современной техники наши промыслы. Норвежцы, наши северные соседи, в этих же водах ежегодно вылавливают около 600 тысяч тонн трески и селедок, то есть, примерно, в двадцать раз больше нашего; и они считают и пишут, что только частично используют пока возможности и рыбные богатства океана. Англичане, немцы, французы и бельгийцы, тральщики которых также промышляют в этих водах, по неофициальным данным, вылавливают ежегодно от шестидесяти до ста тысяч тонн; и они тоже считают мизерной эту цифру, об'ясняя ее лишь случайным характером работы своих судов и дальностью расстояний, на которые им приходится ходить от родных берегов в поисках рыбы. Но нам никуда не приходится ходить, незачем забираться в чужие воды, и мы можем работать регулярно, из года в год, из месяца в месяц; рыба сама каждую весну и каждую осень идет к нашим берегам, идет в наши руки, в наши сети стаями, косяками, которые насчитывают десятки миллионов голов. И вся проблема состоит в том, чтобы научиться полностью выбирать из северных вод те огромнейшие богатства, которые они несут и таят в себе. Мы же до-

бываем здесь пока, примерно, всего одну пятидесятую, крохотную частицу того, что легко могли бы получать с точки зрения естественных, природных возможностей края и побережья. Из года в год огромнейшие, многокилометровые стаи рыб, откормившись у наших берегов, беспрепятственно уходят, повиливая хвостами, обратно в океан; из года в год мы упускаем здесь богатства, которые исчисляются миллионами, десятками миллионов рублей и которые уплывают у нас буквально из рук, между пальцев...

Когда-то, во времена Ломоносова, армия рыбаков, промышлявших на Мурманском побережьи, достигала десяти тысяч человек. В те времена Мурман не только заваливал треской и селедкой внутренний, русский рынок, но мы вывозили рыбу и во Францию, и в Италию, и в Испанию, и даже в Норвегию; промыслы в Норвегии только-только организовались тогда, и норвежцы считали нас в ту пору своими учителями. Но рыбацкое население на Мурманском побережьи систематически стало уменьшаться с той поры из года в год, и из года в год мы все больше и больше теряли то первенствующее положение в рыбном деле, которое занимали когда-то на севере. Очень скоро дело дошло до того, что не мы к норвежцам, а уже норвежцы к нам начали экспортировать треску и селедку северных вод, все повышая и повышая цифры этого ввоза. В предреволюционные годы к нам через Архангельск ежегодно прибывало из Норвегии до 35 тысяч тонн импортной рыбы, которая на рынке продавалась чуть ли не вдвое дороже русской. А, в сущности, эта была наша собственная рыба, — та самая рыба, которая из года в год огромнейшими стаями приходила и месяцами держалась, нагуливая жир, у наших берегов; но у нас некому и нечем оказывалось ловить ее и, откормившись, она уходила опять в норвежские воды, а потом мы втридорога и золотом оплачивали, возвращая назад это ускользающее богатство, каждый ее килограмм.

В последние годы перед революцией число рыбаков на Мурманском побережьи упало у нас настолько, что население поморских поселков исчислялось десятками человек. В советское время оно опять начало расти постепенно, и к 1925 году, по официальным данным, промысловая армия на Мурмане насчитывала около четырех тысяч человек и стабилизовалась с той поры. Цифра эта и вообще недостаточна, конечно, чтобы организовать и поднять наш северный промысел на ту высоту, на которой он должен бы стоять; в Норвегии кустарным рыболовством занято систематически около 150.000 человек, и для всех для них находится и дело и заработок! Но вопрос не только в этом; нашу добычу страшно снижает главным образом техническая отсталость и кочевой характер лова и промыслов.

Из четырех тысяч рыбаков, промышляющих сейчас на Мурмане, лишь восемьсот или девятьсот че-

ловек являются оседлыми жителями поморских становищ, остальные приходят сюда из Карелии и с беломорского побережья только на сезон, на три или на четыре месяца в году, постоянно меняясь и в числе и в составе, — и это, прежде всего, делает практически почти невозможным твердый план и настоящую организацию добычи. Пришлые поморы не имеют собственного, постоянного жилья в поселках, работают как сезонники, и обзаводиться дорогими, усовершенствованными орудиями лова и большими судами для них оказывается почти невозможно даже и тогда, когда они, отказавшись от лова в одиночку, образуют артели и колхозы, с одним из которых мы познакомились в Териберке. Мелкие суда, лодки и баркасы и мелкую, дешевую снасть они просто вытягивают и бросают до будущего сезона на берегах, уходя с промыслов, никакого особого ухода и забот все это не требует, а воровства здесь почти нет. Но бросать на произвол судьбы или доверять присмотру соседей крупные суда и дорогую, сложную и капризную снасть, конечно, очень рискованно и практически очень часто просто невозможно; с другой стороны, никто из сезонников не бывает уверен твердо, что в будущем году он опять придет на лов в эти места, и все опасаются поэтому вкладывать в основное оборудование сколько-нибудь значительные средства, даже тогда, когда эти средства имеются. В итоге, преобладающим типом промыслового кустарного судна

на Мурмане все еще остаются примитивный, плоскодонный «шняк» и «ел», на которых ходили здесь в море и двадцать и тридцать и пятьдесят лет тому назад. «Шняки» и «елы» — это небольшие парусные тихоходные лодки, едва поднимающие от полутора до двух тонн рыбы; рейсы на них отнимают массу времени и в достаточной степени опасны.

Штормы на севере отличаются своей внезапностью и стремительностью, с какой они растут и движутся; иногда бывает достаточно двух часов, чтобы совершенно зеркальная, застывшая гладь океана буквально на глазах превратилась в сплошной и ужасный хаос рокочущих, грозных, вздымающихся, падающих и сметающих все на своем пути водяных громад, достигающих многих метров в высоту. Рыбакам, которых шторм застает в море, приходится, бросая все, бежать поспешно в ближайшую защищенную бухту; но бежать, опережая шторм, на веслах или на тощем, крохотном паруске—практически очень часто оказывается невозможно. И бывает, что лодки, «шняки» и «елы», если они слишком далеко уходят в океан, гибнут в таких случаях вместе с людьми по несколько штук за раз, несмотря на то, что из бухты на помощь им выходят тотчас же специальные, спасательные, всегда стоящие наготове суда. Поскольку чрезмерно рисковать и заходить в открытое море рыбаки в массе не решаются, наш кустарный лов почти целиком сосредоточен в ближай-

шей водной полосе, в расстоянии до 30 километров от берега. Между тем основная масса рыбы держится, как показывают все наблюдения, в придонной полосе, примерно в ста километрах от берега. Таким образом получается, что лов сосредоточен у нас в местах, где рыба бывает только случайно и только мелкими, отбившимися от основных косяков стаями. Легко представить себе, насколько сокращает это наш кустарный лов. С другой стороны, когда поморы наталкиваются на крупные рыбные стада, они все равно оказываются не в состоянии целиком подобрать их, так как грузоподъемность их судов чрезвычайно ничтожна; взяв по две тонны и нагрузившись до краев, так что «шняки» садятся в воду по самые борта, они вынуждены уходить, оставляя за собой рыбные косяки, насчитывающие сплошь и рядом миллионы штук; покуда они доходят до бухты, выгружаются и возвращаются назад, рыба, конечно, перекочевывает уже в другое место. Иди, ищи по океану!

Всего этого не было бы, конечно, и не будет, когда на смену гребным и парусным «шнякам» придут быстроходные моторные суда, давно введенные уже в практику в Норвегии. На них можно будет, не рискуя, ходить в океан на любые расстояния, сообразуясь с местами рыбных стоянок и тратя минимум времени на переезды и доставку улова; и, работая на большегрузных моторах, не придется оставлять, пропуская золото между

пальцев, треску в море, когда она будет встречаться крупными стаями. До революции моторных судов на мурманском побережьи не было вовсе; теперь их насчитывается там уже около шестидесяти штук. Конечно, и это уже целая революция, и это уже большой шаг на пути борьбы с прадедовскими нашими традициями и методами лова. Но все же, шестьдесят моторных судов составляют лишь около пяти процентов всего северного промыслового флота; основная работа попрежнему идет все же на допотопных уродливых и неуклюжих «шняках». Не слишком ли медленно разворачивается, с точки зрения нынешних темпов нашего строительства, процесс частичной хотя бы механизации северных промыслов? Норвегия в 1901 году имела всего 400 таких моторных судов; но сейчас их число доведено там до 15.000 против наших шестидесяти.

Очевидно, чтобы подняться на этом участке на европейскую высоту, нам надо удвоить, утроить, удесятерить темпы технической рационализации промыслов, прежде всего в корне изменив и уничтожив их сезонный, кочевой характер, который несомненно является основным тормазом в этом деле, и серьезно взявшись за колонизацию и устройство мурманского побережья. Не только людей и не только моторных судов не хватает на пустынном Мурмане: не хватает жилья, защищенных бухт, пристаней, факторий, складов, маяков. В поселках нет почти ни

школ, ни больниц,—и люди живут здесь, не удовлетворяя самых элементарных своих бытовых и культурных нужд и чрезвычайно тяготясь, конечно, таким существованием. Капитальные вложения в норвежские промыслы определяются сейчас цифрой в сто миллионов рублей; конечно, это огромная, баснословная сумма, но насколько быстро оборачиваются и окупаются вложенные в это дело средства видно уже из того, хотя бы, что ежегодный доход с промыслов составляет в Норвегии шестьдесят миллионов рублей! Стоимость же инвентаря и береговых сооружений на Мурмане едва достигает сейчас трех миллионов рублей. Как бы ни были мы ограничены в средствах, несомненно, что эта цифра много меньше наших реальных возможностей. Особенно, если принять во внимание, что это, в сущности, не капитальные вложения, а лишь краткосрочные ссуды, которые с огромной лихвой окупаются здесь в течение одного сезона. Особенно, если учесть, что здесь откроются, едва на этот берег твердо ступит нога вооруженного современной техникой человека, совершенно исключительные перспективы продовольственного снабжения страны и экспорта рыбы в Европу, которую почти монопольно снабжает сейчас треской Норвегия!

В годы революции впервые на Мурмане введен в практику так называемый тралловый лов, то есть лов с особых пароходов, траллеров, которые заходят очень далеко в океан и работают огромными неводами, оттертраллами. Найдя рыбу, тральщик забрасывает укрепленный стальными тросами невод и, работая машинами на полный ход, начинает циркулировать по кругу на месте рыбной стоянки, влача за собой постепенно наполняющуюся добычей снасть. Через два-три часа тралл извлекается, его богатейшее содержимое высыпают в трюмы, и снова закидывают невод. Добыча тральщиков, когда они удачно «нащупывают» рыбу в океане, бывает очень велика и достигает нескольких десятков тонн за рейс. Тральщики, которых в Мурманске насчитывается сейчас уже больше двадцати штук, опять-таки, являются, конечно, огромным нашим достижением на севере; как бы ни был отлично организован кустарный улов, охватить им рыбные места в открытом океане, куда ходят тральщики, невозможно. Вводя тралловые суда, мы, таким образом, во много раз расширяем границы наших промыслов. Из тридцати тысяч тонн общей нашей ежегодной добычи на Мурмане — девятнадцать приходятся именно на долю траллового лова. К концу пятилетки число траллеров на Мурмане предположено удвоить, и это поднимет общую нашу добычу до ста тысяч тонн трески и селедки ежегодно. Миллион пудов! Цифра, которая и не снилась, конечно, частным промышленникам на Мурмане в старые времена! Но в практике траллового лова нужна осторожность, которая далеко не всегда, к сожалению, у нас соблюдается. Тральщики должны

строго держаться той зоны в открытом океане, для которой они предназначены, отнюдь не врываясь в прибрежную полосу, в которой работают артели и колхозы рыбаков. Для тральщика это очень соблазнительно, конечно, потому что лов на близком побережьи чрезвычайно сокращает сроки рейса и дает огромную экономию в топливе; но для рыбаков визиты тральщиков составляют форменное бедствие. Шныряя вдоль берега, тральщик разгоняет напуганную рыбу, сметает и рвет расставленные рыбацкие снасти и огромным своим неводом за раз выбирает из воды всю треску, которая мелкими стаями, отбившись от основных рыбных косяков, пришла на отмели из океана. Поморы сложили даже особую песню по поводу этих тралловых набегов:

...Да и в море-океане негде промышлять:
Прежде ярус где матали, чтоб трески достать,
Там теперь, на пароходах стали приходить,
Тралл огромный на канатах за кормой тащить.
Ты, рыбак, поберегися с ярусом твоим,
А случится — попадешься, то не сладишь с ним...

Конечно, эти визиты выглядят как хищничество, как мародерство, которое подрывает кустарный лов, страшно раздражает и озлобляет поморов и иногда даже заставляет их покидать обжитые, насиженные стоянки и места на побережьи; тралловые набеги преследуются как будто у нас законами и массой особых инструкций. Но, как это ни странно, добиться окончательных «увязок» в этом

несложном, казалось бы, вопросе никак не удается; нет-нет—да и завернет ночью, погасив огни, соблазненный легкой поживой, очередной незванный гость, разгоняя прибрежную рыбу, разрывая поморские снасти на пути и каждый раз вызывая при этом новую волну возмущения, слухов и тревоги по всему побережью.

Это было первое, о чем заговорили, буквально забросав нас жалобами, поморы, едва мы сошли на берег в Териберке.

В Териберке, в маленьком поселке, приютившемся между скал в живописной, напоминающей итальянские уголки бухте, царило, когда мы приехали туда, какое-то странное и удручающее уныние и безделье. «Шняки» неподвижно стояли на якорях с поникшими парусами, на берегу, хотя это был самый разгар сезонного лова, повсюду валялись и висели на заборах и на столбах брошенные сети; хмурые люди кучками и в одиночку бесцельно бродили по улицам и по дебаркадерам пристаней, точно не зная, куда себя девать и чем заняться. Все это выглядело очень странно, потому что в океане появилась и шла рыба, и поморы обычно живут и работают в такие дни, как в лихорадке, дорожа каждой минутой и по суткам не выходя обычно из своих лодок на берег.

Мы спросили, в чем дело. Оказалось, случилась история, которая из года в год, из сезона в сезон почти регулярно повторяется на промыслах Мурмана. В поселке, когда подошла треска, не оказа-

лось наживки, то есть мелкой рыбешки, которая служит приманкой треске. Это был период так называемого ярусного лова. Ярус представляет собой обычный наш речной перемет, увеличенный соответственно масштабам океана; ярусные тюки состоят из системы прочных бичевок, на которых в известном расстоянии друг от друга болтаются поводцы — снабженные белыми лужеными крючками веревочные концы. На каждый тюк приходится около 200 крючков; в ярусе же, в состав которого входит пятьдесят тюков, их число достигает нескольких тысяч. Ярус, перед тем как выметывать его в море, необходимо наживить, насадив по рыбешке на каждый из его крючков, без наживки промышлять немыслимо. В качестве приманки на Мурмане наиболее популярна мойва, мелкая рыбешка, идущая обыкновенно впереди трески, которая за ней охотится. Мойва появляется огромными и густыми стаями, и лов ее не представляет особых затруднений; но все дело в том, что ни в одном из рыбацких становищ на побережьи нет оборудованных хранилищ, где можно было бы держать ее запасы. Это очень нежная, быстропортящаяся рыба; на воздухе хранить ее нельзя, а на льду в снегу она преет тотчас же и приобретает неприятный запах и сладковатый, тошнотворный вкус. Поскольку хранилищ на побережьи нет и запасов наживки делать нельзя, рыбаки ловят мойву обычно в последнюю минуту перед выходом в море и лишь в таком количестве, какое нужно на

один, очередной рейс. Если мойва идет перед треской — все бывает хорошо; но если она, закапризничав, свернет вдруг в сторону, промыслы остаются без наживки и какими бы огромными косяками ни пришла треска, ловить ее оказывается невозможно. Заменить мойву нечем; пробовали было вместо нее наживлять ярусы морским червем или кусочками белой клеенки, как это делается на Каспии и на Аральском море, но ничего не вышло. И если нет мойвы — остается только смотреть, грызя пальцы с досады, как миллионные стаи рыб, поиграв и подкормившись у берега, уходят одна за другой, никем не потревоженные, обратно в океан. Так и было в Териберке, когда мы попали туда; как раз накануне у мыса появилась и огромной массой шла теперь мимо бухты треска. Но поселок сидел без мойвы, наживлять ярусы было нечем, и рыба, подошедшая так близко, точно она сама готова была прыгать прямо из воды в засольные склады на берегу, ускользала из рук...

Такие случаи регулярно повторяются на всем побережьи из года в год, и каждый раз, упуская из-под рук рыбу, промыслы теряют на этом десятки тысяч рублей. Но как это ни странно, на Мурмане не предпринимают почти ничего, чтобы сколько-нибудь упорядочить наживочное дело и сделать невозможными такие инциденты. Если бы подсчитать убытки, которые терпят ежегодно промыслы, оставаясь без наживки и в самые горячие дни сплошь и рядом прекращая поэтому

лов—этих денег хватило бы, вероятно, чтобы оборудовать хранилищами для мойвы все побережье. Но это и не требуется даже; требуется создать всего одну крупную базу на Мурмане, которая, организовав широкий лов и хранение мойвы, снабжала бы ею все поселки, сняв с рыбаков постоянную хлопотливую заботу о наживке. В старое время на побережьи работала таким именно образом частная фирма некоего предприимчивого прасола с колоритным именем и фамилией — Египтах Могучий; и она имела огромный успех и прибыли и пользовалась большой популярностью у поморов. В дни революции Египтах Могучий исчез куда-то, дело это перешло к рыбным организациям и постепенно захирело почему-то, никак не выходя до сих пор из стадии согласований и проработок. И мы продолжаем вверять промыслы игре капризного случая и из сезона в сезон теряем на этой своей неорганизованности, упуская целые косяки рыб, десятки, может быть, сотни тысяч рублей...

...На пристани и в посольных складах Териберки мы смотрели, как разделывают очередной улов трески. И это дело, хоть оно значительно улучшено за последние годы на наших промыслах, поражает все же примитивностью своих методов и традиций. Рыбе обрубают голову, вынимают внутренности и, не моя и не чистя ее, грязную, лежалую, всю забрызганную кровью, сваливают, пересыпая крупной, грубой, серой солью, в «чердаки», в спрессованные огромные штабеля на берегу, и

в трюмы судов. «Тузлук», рассол, постепенно стекает с нее, в штабелях начинаются очень скоро гнилостные процессы, и белоснежная треска приобретает постепенно желтовато-грязный оттенок и специфический, пронзительный и неприятный запах. Именно вследствие этого треску, отличающуюся, вообще говоря, отличными вкусовыми и питательными свойствами, принято считать у нас рыбой самого низшего качества. Именно вследствие этого мы продаем и экспортируем ее за гроши, и она не пользуется никакой популярностью у нас в стране, лишь на севере являясь одним из основных продуктов питания. Местным поморам даже нравится ее острый запах, и на побережьи в ходу поговорка: «чем воняе, тем ссскуснея». Очевидно, это дело привычки; людям с обычным, нормальным вкусом трудно, во всяком случае, голосовать за этот афоризм. Но попробуйте разделать и засолить треску иначе, как это делают в Норвегии, например! Предварительно обескровленная рыба освобождается там от внутренностей и от костяка; при этом голова идет на сушку и в перемолотом виде дает отличную питательную и удобрительную муку. Затем треску промывают тщательно, чистят щетками, пластуют и солят в бочках чистой, белой, португальской солью. Разница небольшая, как будто, и дополнительные расходы составляют гроши, но эффект получается замечательный: продукт сохраняет совершенно белый цвет, нежный и отличный вкус и абсолютно

лишен того дурного запаха, который у нас считается обязательным, специфическим запахом трески. И, конечно, он идет на рынке по цене, в несколько раз превышающей нашу! Дело, стало быть, не в треске, а в способах ее обработки, которые остались у нас почти теми же, что были и пятьдесят лет тому назад. Мы научились, правда, в последние годы, утилизировать отбросы этого производства, рыбьи головы и кости, которые выбрасывались раньше как сор; теперь их десятками, сотнями тысяч штук сушат, обвешивая их связками все дома и заборы в любом рыбачьем поселке, и перемалывают их в отличную съестную муку. Это дает нам огромный дополнительный доход и наглядно показывает, какие ценности можно извлекать из отбросов, наладив самую простейшую их утилизацию. Не пропадает и не растекается по рукам теперь и тресковая печень, воюкса, из которой делается медицинский рыбий жир; на побережьи работает же вновь отстроенный завод, перерабатывающий этот ценнейший продукт северного рыболовства. Это—тоже наше достижение. Но основной процесс обработки северной рыбы почти целиком сохранил еще прежние свои черты, и мы портим десятки тысяч тонн отличного, в сущности, продукта и теряем ежегодно сотни тысяч рублей только потому, что не научились... мыть рыбу перед засолкой!

Точно так же мы теряем из года в год миллионы трески, не упорядочив до сих пор нашего ярусного лова, в который только-только еще начинают проникать первые элементы рационализации. Достаточно привести такой пример. Забрасывая ярус, рыбак оставляет его сейчас в воде, примерно, на шесть, на восемь часов; так испокон века делали и отцы и деды, и почему-то издавна принято считать, что треска клюет наживку лишь в придонной воде, и только тогда, когда опущенная на крючке мойва неподвижно застывает на дне в водорослях. Между тем, научными наблюдениями почти с несомненностью установлено сейчас, что треска клюет наживку почти исключительно на ходу, не девая ей достичь дна. Она клюет в тот короткий промежуток времени, покуда концы заброшенного яруса опускаются вниз и наживленные рыбешки трепыхаются на крючках, как живые; на дно же крючки опускаются уже либо пустыми, либо с попавшейся на них треской и держать их там по шести и по восьми часов совершенно бессмысленно, потому что неподвижной наживки треска не клюет; больше того — треска, которая уже попалась на крючки, трепыхаясь непрерывно, обрывается за этот промежуток со снастей и уходит в море. Следовательно, ярус, чтобы выбирать полную добычу, надо держать в воде не шесть и не восемь часов, а всего час или даже тридцать минут. Следовательно, введя этот метод, мы могли бы, не прибегая ни к каким капитальным затратам на оборудование, по крайней мере в шесть раз ускорить процесс лова и по крайней мере

вдвое поднять нынешнюю добычу яруса. Это просто, как день, и это из года в год давало бы нам десятки дополнительных траспортов трески, погибающей сейчас вследствие дикой нашей косности, традиций, неподвижности и неуменья. Да одна ли треска? До сих пор, например, мы не поставили промыслов камбалы на Мурмане, которую и по сей день в наших водах и у нас под носом десятками тысяч тонн ловят на севере ежегодно английские тральщики. Наша мурманская камбала составляет около тридцати процентов всей камбалы, потребляемой Англией, а поедается она там сотнями тысяч тонн ежегодно! Этой рыбы так много в океане и промысел ее дает настолько дорогой и высококачественный продукт, что англичанам оказывается выгодным посылать сюда тральщиков на расстояние, которое требует двух недель ходу, и в замороженном виде доставлять камбалу от мурманских берегов в Лондон. А мы до сих пор не наладили этого дела, имея все возможности к обработке продукта на месте и к быстрой доставке его через Мурманск и Архангельск на любой внутренний рынок страны; мы до сих пор не взялись за это, имея все возможности создать новую доходнейшую статью экспорта, сами двинув ту камбалу, которую в наших водах ловят сейчас англичане, в Лондон.

Или же, например, до сих пор мы не организовали акульего промысла на севере. Жир, который вытапливается из печени акулы, и шагрень,

которая получается в обработке из ее шкуры, отличаются прекрасными качествами, а акулье мясо, совершенно почти неизвестное у нас как продукт питания, является отличным материалом для герметического консервирования. Океан, особенно в некоторых районах, буквально кишит акулами; известны случаи, когда у Канина носа, например, один моторный бот вылавливал в сутки до 400 акул; на тральщиках почти не бывает случаев, чтобы в неводе, когда его поднимают наверх, не оказалось трех-четырех акул. Акулий промысел несложен, он не требует ни больших средств, ни специальных технических приспособлений, и очень легко мог бы быть организован, принося огромные доходы.

Да что говорить, словом! Трудно даже представить себе, какими колоссальными ценностями обладают эти богатые, как Клондайк, места, это пустынное, дикое побережье, где на протяжении полутора тысяч километров ютится сейчас десяток глухих, заброшенных, отрезанных от всего мира рыбачьих поселков! Рыбные возможности здесь практически неисчерпаемы, и промыслы практически остаются неистощимы, как бы стремительно ни возрастал лов. Мурман, на котором мы будем добывать к концу пятилетки 100 тысяч тонн рыбы в год, свободно мог бы дать и двести и триста и четыреста тысяч, — досыта, буквально по горло кормя своими уловами всю нашу страну, если бы...

Конечно, их много, этих «если»: если форсиро-

ванным темпом пойдет колонизация и устройство побережья, если на смену допотопным «шнякам» придет моторный бот, если мы научимся как следует ловить на крючки и как следует солить и консервировать рыбу, если будет расширяться наш тралловый лов. Но разве есть среди всех этих «если» хоть одно такое, которое нельзя было бы преодолеть, устранить, сломить? Разве то, что впервые эти воды забороздили сейчас два десятка советских траллеров, впервые застучали моторы в бухтах далеких становищ, впервые задымили трубы перерабатывающих заводов на побережьи, впервые, как бы возвещая жизнь, засветили огни новых маяков на одиноких, диких океанских мысах,—разве все это не доказывает, что мы сделали уже первый практический шаг на этом пути?

XI

Небо горит! — Северное сиянье. — Старые басни и гипотеза Биркеланда. — Столица севера. — О британской карте советского Мурмана. — Мурманск стучит топорами. — Город будущего. — На юг.

Мы стояли, ожидая прицепки, где-то на глухом полустанке в нескольких километрах от Мурманска. Был поздний вечер, и густая полярная тьма тяжелой и непроницаемой завесой опустилась на землю. Казалось, она просачивается даже сквозь невидимые щели в вагон и окутывает пеленой предметы и делает тусклым и безжизненным свет электрических ламп. За окнами было так черно, что даже снег, великолепный, девственный, северный снег, густым ковром устилавший землю и хлопьями висевший на ветвях деревьев и на карнизах домов, казался бурым и грязным, точно он впитал в себя темноту ночи.

Мы возились, тщетно пытаясь поймать волну Москва или Ленинград на вагонный радиоприемник. Он бездействовал уже вторые сутки, с момента, когда был пересечен полярный круг, сплошь и рядом, особенно в периоды магнитных бурь, бороться с которыми мы еще не научились,

здесь перестает работать, не говоря уже о радио, даже телеграф, и тогда прерывается на какие-то часы почти всякая связь Мурмана с внешним миром...

— Загорается! — крикнул вдруг откуда-то снаружи, торопливо стуча в окно, проводник: — горит, горит!

Мы выбежали поспешно, на ходу набрасывая полушубки. Начиналось северное сиянье — величественный, прекрасный и таинственный северный небесный пожар...

На темном, низком небе появилось сначала маленькое легкое облачко; верхние края его были освещены причудливым радужным светом, точно за ним скрыт был и светил изнутри сказочный цветной юпитер. Облачко медленно ползло по небу и точно таяло на глазах; вдруг из-за краев его взметнулась и завилась спиралью, как гигантский фейерверк, рассыпая во все стороны искры и языки пламени, сверкающая лента; она горела с минуту, извиваясь и точно трепеща, потом погасла вдруг, потом вспыхнула снова, уже гораздо шире и ярче — и невозможно было понять, куда она исчезла и откуда явилась опять. Она напоминала мираж, какого-то фантастического огненного змея. Некоторое время она скользила, непрестанно меняя место, вид, форму, цвета и напряжение, чертя ослепительные дуги, кольца и спирали и плетя кружева пламени по небу, потом выпрямилась вдруг и на мгновенье замерла в виде прямого огненного столба; тотчас же от столба и навстречу ему поползли со всех сторон, как будто посылаемые невидимыми прожекторами с невидимых воздушных судов, лучи, таинственно возникающие где-то в высоте яркого света. Белые, красные, зеленые, синие, оранжевые, смешиваясь, они давали фантастическое и изумительное сочетание цветов и оттенков; казалось, в этих каскадах огня собрано все несметное богатство, все разнообразие красок, каким обладает природа.

Лучи скользили, то опускаясь и падая куда-то, то опять высоко вздымаясь кверху, они то исчезали, то невидимо возникали вновь, они скрещивались, обгоняли и перекрывали друг друга, становясь все ярче и ярче, все шире и шире охватывая горизонт, все глубже и глубже прорезая тьму ночи и все плотнее опоясывая сверкающими нитями столб, колыхавшийся над землей. И вдруг столб задрожал и рухнул, рассыпавшись тысячами разноцветных огней, тысячами горящих лент и причудливых языков — и об'ятое сплошным пламенем небо загорелось, полыхая от края до края, насколько хватал глаз...

Невольно мы напрягали слух, стараясь уловить хоть какой-нибудь вызванный этой неудержимой стихией огня шум или звук; но обычная, немая тишина, которая казалась еще более величественной, еще более прекрасной в эти минуты, стояла над безбрежными снеговыми просторами севера. Полярный мрак рассеялся, и звезды, еще несколь-

ко минут тому назад светившие так ярко, потускнели сразу и мерцали тускло и жалко, как керосиновые лампочки, у которых прикрутили фитили; окружающие предметы, точно освещенные заревом необ'ятного пожара, приняли странные и нереальные очертания; снег ожил, он горел, блестел и сверкал теперь прекрасно и ослепительно всеми красками радуги, как фантастический ковер разноцветных драгоценных камней чистой воды... Пораженные, почти потрясенные, не отрывая от неба глаз, мы стояли молча, стояли почти час, позабыв надеть шапки и не замечая, как коченеют уши на морозе, — стояли, покуда феерическое пламя, бушевавшее в небе, не исчезло вдруг, рассыпавшись мириадами чудесных фейерверков так же внезапно, загадочно и непонятно, как и появилось...

Северное, точнее, полярное сиянье, принадлежит к области явлений, до сих пор не разгаданных и не об'ясненных наукой. Конечно, теперь никто не думает уже и не говорит, как было в старину, что это просто «гневный свет божий», предвестник несчастья и войны. Конечно, никто не верит уже, как верили еще 50 лет тому назад, наивной догадке, что причиной, вызывающей небесные пожары на севере, являются пары, подымающиеся к небу от гниющих по берегам океана водорослей и рыб. Наука в состоянии уже определить и доказать электромагнитный характер этого явления, всегда сопровождающегося, между прочим,

необычайно нервными и резкими колебаниями стрелки в компасе; любопытно и характерно при этом, что стрелка прыгает совершенно параллельно движениям огненной ленты на небе, появлением которой начинается обычно полярное сиянье. Но большего об'яснить мы пока не в состоянии, и среди тридцати гипотез, так или иначе анализирующих это явление, нет еще, в сущности, ни одной, которую можно было бы признать исчерпывающей и бесспорной. Наиболее популярной, наиболее доказательной и обоснованной в последнее время принято считать гипотезу норвежского ученого Биркеланда. Он исходит из теории, утверждающей, что на солнце происходят периодические гигантские взрывы и извержения вулканов; когда деятельность солнца, в связи с этим, становится особенно интенсивной и бурной, его катодные лучи, выбрасываясь на огромные расстояния, выходят за пределы солнечного притяжения и, хотя солнце отстоит от нас, примерно, на 140 миллионов километров,—достигают земной атмосферы. Притягиваясь затем полюсами земли, они создают в верхних слоях земной атмосферы светящиеся электрические вихри, очень далекие от нас, но настолько мощные и яркие, что мы в состоянии не только видеть их, но даже в деталях наблюдать за их передвижением; этим и об'ясняются, по мнению Биркеланда, полярные сиянья. С точки зрения нынешних наших знаний и нынешнего нашего понимания процессов, происходящих в

природе, это представляется наиболее вероятным; но все же это остается лишь догадкой, и, очевидно, только завтрашний день с его новыми открытиями и идеями и с новыми его, совершенными методами познания, окончательно сорвет покровы тайны, которой и посейчас окутаны чудесные, незабываемые пожары неба на севере...

...От Мурманска ожидаешь гораздо больше того, что он на первый взгляд собой представляет. Думаешь, что снизу и доверху он овеян романтикой, этот полярный город на далеком и угрюмом океанском берегу; а он встает перед тобою в обыденной простоте трудовых и очень суровых своих будней. Думаешь увидеть одетую в гранит молодую и гордую столицу края, впервые в истории вызванного к жизни народом, который сам организует свое будущее и свою судьбу; а он раскинулся кучкой провинциальных, бревенчатых домишек с флюгерами и с петушками на карнизах и на трубах, из которых, создавая ощущение домашнего уюта и патриархальности, легкими струйками постоянно клубится дым; кажется почему-то, что внутри пекут пироги. Ни портовых таверн, ни китайских кабачков, ни таинственных домиков со спущенными шторами, за которыми курят опиум и проигрывают пригоршнями жемчуг и золото за зеленым столом по ночам,—ничего этого нет в Мурманске, воображаемую экзотику которого, представляя его, как советский Даусон-Сити на советском Клондайке, так любят воспевать проез-

жие журналисты. Когда-то, действительно, был здесь так называемый китайский квартал, состоявший из убогих, грязных и смрадных лачуг и подозрительных лавчонок и пивных с безграмотными, наивными, сентиментальными и многообещающими вывесками на дверях; но он давно ликвидирован, этот квартал потрясающей нищеты и всяческих пороков; лачуги, которые напоминают конуры для больших собак и в которых, тем не менее, целыми семьями ютились раньше люди, все больше и больше идут на снос, и китайцы переселяются отсюда в новые дома в центр города и ассимилируются. Когда-то, когда достраивалась дорога, создавался порт и шла широкая спекуляция на поставках и участках, действительно, царила здесь лихорадка легкой наживы, текло обильно золото между пальцев, стоял постоянный пьяный угар в воздухе, мерцали день и ночь красные фонарики над дверьми дешевых публичных домов, и горели нездоровые страсти по ночам; это со всех концов привлекало сюда бродяг, прожигателей жизни, любителей приключений и просто людей, которые искали заработка и куска хлеба, и этим, в значительной степени, об'ясняется, между прочим, странный, единственный в своем роде состав населения в Мурманске, состоящего из людей тридцати различных национальностей, — от финнов, норвежцев и поляков до корейцев, французов и негров включительно; но, опять-таки, эта пора безвозвратно ушла в прош-

лое вместе с тем строем, в темных закоулках которого рождалась и царила эта мрачная «романтика», такая увлекательная на страницах приключенческой литературы и такая отталкивающая и страшная в действительной жизни, в обнаженном и неприкрашенном виде. Всего этого уже нет, эти нравы и порядки умерли с первым свежим дыханием новой жизни в стране, а люди, как бабочки на огонь, стекавшиеся когда-то со всех сторон в поисках необычайного в этот загадочный и манящий полярный край, частью исчезли неизвестно куда, опалив крылья, частью давно уже вошли, осев здесь, в орбиту обычной трудовой, созидающей жизни. Нет экзотики, нет и русского специфического духа, особого колорита старой российской провинции, с неизбежными церквами, торговыми рядами и неизбежной тюрьмой на околице, нет и романтической русской старины, в поисках которой с'езжаются сюда лирики из столиц. Мурманск не имеет еще ни традиций, ни определенного лица, он напоминает скорее большой и неустроенный бивуак, нежели северный Новгород или легендарную столицу золотоискателей на Юконе — этот город, рожденный войной и переживший затем трагическую эпопею союзной интервенции на севере, эпопею короткого, но жесткого владычества англичан, пытавшихся превратить в британскую колонию весь сказочно-богатый край. У англичан, как выясняется теперь, была уже составлена даже детальная и чрезвычайно

тщательная карта британского Мурмана; один из ее экземпляров, с таким именно наименованием, сохранился как экспонат ушедшей эпохи в советских архивах Мурманска. Она составлена с большим знанием дела и с точным учетом блестящих экономических перспектив и возможностей, которые должны были открыться здесь будущим победителям, хозяевам и поработителям. Не обойден как источник даровой энергии ни один водопад, ни один порог на бурных местных реках, не пропущено ни одной жемчужной реки в горах, ни одного места, где были обнаружены какие-нибудь ископаемые геологическими разведками. Даже отмечен пунктиром ход рыбы вдоль мурманских берегов, даже обозначены крестиками удобные оленьи пастбища в тундрах. Они уже делили на глазах всего мира добычу и вслух подсчитывали уже барыши, они уже расположились было здесь совсем, как у себя дома, эти господа, эти рыцари рыкающего и алчного британского льва, совершенно упустив из виду, в сложной и точной системе своих военно-коммерческих расчетов только одно роковое для них обстоятельство: здесь была не страна рабов, но страна восставшего революционного народа, на этих берегах, у которых, подняв воинственные флаги британской империи, отдали якоря десантные суда. Страна народа, который ценой любых жертв, ценой жизни готов был защищать свою свободу и независимость и каждую пядь

своей земли! И флаги очень скоро пришлось приспустить на мачтах, и дессантным судам очень скоро пришлось поднять якоря, и на британской карте советского Мурмана рукой его настоящих хозяев очень скоро был поставлен исчерпывающий красный крест...

Брошенные военные склады и бараки, глухие, длинные и мрачные сараи с овальными крышами и с решетками на оконцах, разбросанные повсюду на площадях города, сейчас это все, что осталось от интервенции, это единственный след незабываемого английского года в советской истории края и города; они стоят, эти глухие сараи, догнивая последние свои дни, как мрачные памятники прошлого и как предупреждение для всех, у кого уроки бесславной английской интервенции не отбили охоты таскать каштаны из советского огня...

Мурманск, если не говорить о возникающих сейчас новых промышленных наших центрах, самый молодой город в республике. Еще каких-нибудь пятнадцать лет тому назад на месте, где он раскинулся сейчас сотнями новых своих домов широких улиц и площадей, ютилось только несколько убогих рыбачьих хижин старинного Семеновского поселка. Тогда здесь ездили еще на оленьих райдах, каждый раз освящали иконами лодки и бухту перед выходом в море, считали электричество навождением беса и об автомобиле говорили примерно так же, как мы говорим

сейчас о снарядах для межпланетных путешествий. Город, вызваный к жизни войной, был основан тут лишь в сентябре 1916 года. Ни этот период, ни первые годы революции, ни голодный 1921 год — не были у нас годами строительства и роста; едва распланированный Мурманск оставался стоять все это время, как наспех раскинутый лагерь, как походный поселок, как дом, который бросили строить наполовине, не возведя над ним крыши. В 1920 году, после ухода англичан, он насчитывал всего две тысячи жителей. Пустынные его улицы поросли травой, птицы вили гнезда в недостроенных и брошенных домах, и в огромной и омертвевшей бухте только гребные лодочки маячили у брошенных причалов для сверхмощных океанских судов; когда в этот период в порт заходил одинокий, случайный пароход, весь город сбегался смотреть на это редкое зрелище...

И вот отзвучали последние выстрелы на фронтах, и была уничтожена последняя тифозная вошь на измученном теле страны и последний призрак голода был изгнан с полей, в борозды которых вновь посыпалось зерно вместо смертоносного свинца пуль, — и армия, класс, страна, отштурмовав Перекоп, двинулась на штурм хозяйственных твердынь и неосвоенных, необъятных богатств Союза. С этой поры и начался настоящий рост Мурманска, города, почти целиком созданного в советское время, города, на лице которого, как в

зеркале, отражается весь бурный процесс революционного созидания в стране, города, которому суждено превратиться из тесового бивуака в шумную и кипучую заполярную столицу республики. Один за другим потянулись грузовые маршруты в его порт, который не замерзает ни одни сутки в году, и через который открывается самый удобный, самый дешевый и самый скорый путь в Европу с крайнего нашего севера. Бесконечным потоком, сотнями, тысячами товарных эшелонов двинулся сюда экспортный лес из Карелии, экспортная руда с новых апатитовых разработок в Хибинах, экспортная оленина из мурманских совхозов и колхозов, экспортный клипфикс, треска с новых промыслов на побережьи. Маршруты пошли, маршруты замелькали, каждый день, каждый час удваиваясь, утраиваясь, удесятеряясь в числе; навстречу советскому лесу двинулись «Форды» из Детройта, навстерчу советским апатитам потянулись машины из Германии. Ожил, лихорадочно покрываясь сетью новых пирсов, причалов, пристаней, кранов, складов и пакгаузов, омертвевший порт; ожил, застучав топорами и торопливо раскидывая новые поселки и кварталы для людей, сотнями потянувшихся сюда со всех сторон, пустынный город. Если в 1923 году через Мурманск прошло 65 тысяч тонн груза, и это считалось верхом того, что в состоянии пропустить порт и дать и потребовать хозяйство полуострова—то в 1929 году эта цифра увеличилась в семь раз, она достигла 490 тысяч тонн и выдвинула мурманский порт на первое место после Ленинграда. А в последний год пятилетки его грузооборот определен ориентировочно в 2½ миллиона тонн, причем уже сейчас ясно, что эта цифра преуменьшена почти в полтора раза. Если в 1923 году в городе было пять тысяч населения и это считалось пределом того, что может вместить заполярная столица—то к 1930 году Мурманск насчитывает уже 17 тысяч жителей, а еще через три года, по самым скромным, самым осторожным подсчетам, в нем будет 70 тысяч человек. Жизнь опрокидывает все расчеты, все самые смелые, казалось бы, планы, изо дня в день, из часа в час заставляя удваивать размах и темпы нового строительства. Кто мог предусмотреть, что в Хибинах, в нескольких часах езды от Мурманска, будут открыты мировые залежи апатитов. А они заставляют впятеро увеличить на протяжении одного года грузооборот порта и строительство пристаней, складов и рабочих поселков в городе. Кто мог предположить, что лесное наше северное хозяйство будет поднято на такую неслыханную высоту, когда оно дает сейчас стране вчетверо больше того, что давало в старое время? А это создало такой дополнительный поток грузов на океан, что даже от одного взгляда на график может закружиться голова. Кто мог предвидеть, что вместо того, чтобы ввозить к себе рыбу из Норвегии, мы сами двинем наш клипфикс в Скандинавские страны, и организуем эк-

спорт оленины даже в Данию? Кто мог и кто может знать, какие новые возможности, веками таящиеся в просторах нашей страны, будут открыты и освоены и, действительно, открываются и осваиваются изо дня в день народом, необ'ятное хозяйство которого впервые отдано в его руки и в его распоряжение? И Мурманск строится безостановочно, еле поспевая за растущими стремительно требованиями, которые из месяца в месяц, расширяя их, предъявляет к нему вновь организуемое северное наше хозяйство. День и ночь, весь осыпанный золотой стружкой свежего теса, он стучит молотками — и новые дома и новые кварталы растут в нем буквально на глазах; день и ночь гудят сирены пароходов и катеров и скрипят краны лебедок в его порту, и снуют взад и вперед, подвозя грузы моторные вагонетки на дебаркадерах; день и ночь кипит лихорадочная работа на линиях его железнодорожного узла, непрерывно обрастающего сетью новых об'ездов, веток и тупиков. Он разрастается так стремительно, он так резко и настолько быстро меняет свой облик, что, уезжая отсюда на месяц и возвращаясь потом обратно, люди почти не узнают своего города и своего жилья. Откуда этот каменный универмаг на центральной площади, это европейское здание с зеркальными окнами? Ведь как будто вчера еще здесь была мусорная свалка, в которой рылись бездомные собаки... Откуда эти электрические фонари на улицах? Ведь, кажется, вчера еще тут горели только керосиновые коптилки в домах... Откуда этот серый гигант, эта база тралловых судов на берегу бухты? Ведь, если помнится, вчера еще на этом месте валялось только несколько дырявых лодчонок, вытащенных из воды...

На смену «экзотике» вчерашнего дня, на смену кучке нищих и убогих лачуг — стремительно растет столица советского севера, г о р о д б у д у щ е г о, к о т о р о е о т к р ы в а е т с я п е р е д э т и м с к а з о ч н о-б о г а т ы м к р а е м и которое вставало передо мной в реальных уже, казалось, своих очертаниях, когда, покидая после двух месяцев северных скитаний Мурман, я возвращался мыслями ко всему тому, с чем здесь довелось познакомиться, что удалось видеть, слышать и понять. И я думал, глядя из окна вагона на убегающие, почти мертвые еще, но таящие в себе столько сказочного богатства леса, тундры, озера и снежные хребты диких величественных гор, — думал, что Мурман отнюдь не составляет исключения в этом смысле, и что такою же сокровищницей за семью замками, к которой остается только подобрать ключ, окажется, в сущности, и любая другая наша окраина, если приглядеться чуть внимательней к возможностям, скрытым в пустынных ее просторах...

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА ЛЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

I

Пурга. Из окна вагона. Волховстрой. Великое собирание. „Россия во мгле". Кремлевский мечтатель. Нищая романтика. На заре электрического солнца. Как меркнет старый каганец. Творимая утопия.

II

По Мурманке. Извозчик или колонизатор. На костях военнопленных. Быть или не быть? Ларец с сокровищами. Рязано-канадский эксперимент. Ключ найден. Героика будней. Чему учит героика будней. О людях.

III

Медвежья гора. Оазис в тундре. Как же мы будем колонизировать окраины? Столыпинские хутора или советские колхозы? На полярной земле. Экзотика или экономика? Басни о картошке. В боях с природой. Капуста под зонтиком. Под лучами полярного солнца. Будущее сельского хозяйства на Мурмане.

IV

В лесах. Живые покойники. Дрова или вискоза? В „маюшках". Ледяные дороги. Как погибают богатства. Наши темпы. Два слова о завтрашнем дне. На лесосплаве. По реке Шуе. Хождение по водам. На бревнах через пороги. Залом. „Бабья игра". На озерах. В последней гавани. Неизбежность или косность? Ленинградский порт.

V

На апатитах. „Шарообразная молния". Завоеватели Хибин. Как был поставлен заявочный столб. Что такое апатит. Золото в горе Расвумчорр. 8 млн. тонн добавочного зерна в год. Мы прощаемся с господином Сальвэ. Освобожденные миллионы. Энтузиасты Хибин. Дуня об'ясняет.

VI

Шокша. По озерам. На водопадах. Поэзия и проза. Будущий день. Порфиры. Случай на Чупинской губе. Богатства северной земли. Романтика закатов и романтика техники.

VII

Подсека. Грешники дантевского ада. Цена хлеба. Средневековье. Традиции и „неувязки". Вешкенцы. Колхоз „Новая жизнь". Богданов. „Студенты". Как куется жизнь. Ясли. Ресторан в деревне.

VIII

За полярный круг. „Дикарь". Без дорог. „Кережка". Проблема оленя. На ягельных полях „Ушепятна". Традиция Лайки. О пастухах. Илья Васильевич Ледков. Волки, которых кормят ветчиной. Наш экспорт. Почему же у нас нет окороков? Пионеры промышленного оленеводства.

IX

По рекам Козе и Туломе. Ловцы жемчуга. На плотах. Жемчужница. Что такое жемчуг. На свалках перламутра. Как гибнут сокровища. Некипелов. Северный жемчужный лов.

X

На „Выге" в океан. День или ночь? У мыса Пиногория. Александровск. Полярная академия. О китах. Г. А. Клюге. В океане. Рыбные поля. Рыбацкое кочевье. На „шляках" и „елах". Наши уловы. Тральщики. Становище Териберка. Без наживки. Египтах Могучий. На приемке. О возможностях и перспективах.

XI

Небо горит. Северное сияние. Старые басни и гипотезы. Биркеланды. Столица севера. О британской карте советского Мурмана. Мурманск стучит топорами. Город будущего. На юге.